

Нина  
Воронель

Ведьма  
и парашютист  
Звонок из ниоткуда



Готический роман (Фолио)

Нина Воронель

**Ведьма и парашютист.  
Звонок из ниоткуда (сборник)**

«ОМІКО»

2000

УДК 821.161.1(569.4)

**Воронель Н. А.**

Ведьма и парашютист. Звонок из ниоткуда (сборник) /  
Н. А. Воронель — «ОМКО», 2000 — (Готический роман  
(Фолио))

Два первых романа серии переносят читателя в Германию второй половины XX века, в старинный замок, полный зловещих тайн, древних и современных. Там волей случая оказывается израильский парашютист-десантник Ури, который влюбляется в хозяйку замка Инге (местные считают ее ведьмой). Одни и те же события описываются от их имени, а также от имени парализованного отца Инге и деревенского дурачка Клауса. Но незримой тенью присутствует в замке и бывший возлюбленный Инге, международный террорист Карл, считающийся погибшим...

УДК 821.161.1(569.4)

© Воронель Н. А., 2000

© ОМКО, 2000

## Содержание

Ведьма и парашютист	6
Ури	6
Клаус	12
Ури	17
Клаус	19
Инге	22
Ури	26
Инге	27
Отто	29
Ури	31
Клаус	34
Ури	39
Отто	44
Ури	49
Клаус	55
Инге	57
Клаус	60
Инге	62
Клаус	66
Конец ознакомительного фрагмента.	69

**Нина Абрамовна Воронель**  
**Ведьма и парашютист. Звонок из ниоткуда**  
*Сборник*

© Н. Воронель, 2000

© Е. А. Гугалова-Мешкова, художественное оформление, 2019

© Издательства «Фолио», марка серии, 2019

## Ведьма и парашютист

### Ури

Серебристый «ситроен» матери вырулил из-за поворота в тот самый момент, когда Ури решил, что больше он ждать не будет. Он, собственно, и не сомневался, что она опоздает, – опоздание было так же живительно для ее души, как утреннее священнодействие перед зеркалом для ее лица. Она отчаянно махала ему из окна, явно предчувствуя его решение и опасаясь, что он развернется и растворится в многокрасочной иерусалимской толпе прямо у нее перед носом. Он почти так и сделал, крутнулся было уже на каблуках, чтобы уйти и наказать ее, как следует, но передумал и шагнул с тротуара к машине. Однако едва он успел отворить дверцу, как завывла сирена и жизнь вокруг остановилась.

Все те, что за секунду до сирены шагали, бежали, протискивались навстречу потоку других шагающих и бегущих, все те, кого несло и крутило в многоглазом уличном водовороте, вдруг замерли разом, и водоворота не стало. Машины застыли там, где их застигла сирена, и только их пассажиры и водители на миг нарушили эту зачарованную неподвижность – они единым слаженным толчком отворили дверцы и, изогнувшись одновременно, встали каждый рядом со своей машиной. Придерживая щепоткой пальцев полуоткрытые дверцы, они стояли, низко склонив головы, – то ли молились, то ли разглядывали носки своих ботинок.

День поминовения погибших. Эзры, Итая и его, Ури, ибо маленькая случайность, благодаря которой он остался в живых, казалась нелепым недоразумением на фоне того, что с ними тогда произошло.

Как только сирена смолкла, Ури в два прыжка оказался рядом с матерью и, отмахиваясь от ее извинений, сказал резко:

– Садись справа, я сам поведу.

Она было залепетала что-то насчет нервного срыва и врачебных запретов, но он уже затягивал ремень шоферского сиденья:

– Ты, надеюсь, не хочешь, чтобы я опоздал на самолет?

Мать глянула в его яростные глаза и не стала ему возражать, она молча села рядом с ним, молча затянула свой ремень и ни разу за всю дорогу в аэропорт не указала ему на зашкаленный спидометр. Так ему и запомнился этот предотлетный час – его новая, еще не опробованная временем власть над матерью, ее закушенные губы и тишина, как перед смертью.

День поминовения погибших.

На прощанье он все же сжалился над матерью и подставил ей щеку для поцелуя на пороге зачарованной зоны для избранных, в кондиционированную благодать которой пускали только пассажиров. Она потерлась о его щеку нежными, все еще молодыми губами (о, увядающая Клара, черт бы ее побрал!), и сквозь терпкий аромат духов на него пахнуло знакомым молочным запахом ее кожи, который он так обожал в детстве и от которого сходил с ума в ранней юности.

– Ты будешь мне звонить иногда? – спросила она робко. Робость эта все еще была ему внове, и он пока не знал, как на нее реагировать. И потому ответил более резко, чем он сам от себя ожидал.

– Чтобы прервать твою приятную беседу с очередным поклонником?

Мать часто-часто заморгала, словно собиралась заплакать, но сдержалась и вместо слез выдавила из себя кривое подобие улыбки, обращающее его хамство в шутку.

– Мне казалось, ты всегда неплохо ладил с моими поклонниками.

Что было делать, если она сама подставляла вторую щеку? Только бить с размаху.

– А что еще оставалось единственному сыну молодой красивой вдовы?

Тут уж ей наверняка следовало поставить его на место – одним властным взмахом ресниц, как она это умела. Но она выдавила из себя еще одну игривую улыбочку, она даже игриво крутнула задом и погрозила ему пальчиком, как маленькому – ну-ну-ну, злопамятный мальчишка! И тут ему стало страшно: неужто он и впрямь так серьезно болен, что все ему дозволено? Или это просто награда за то, что он остался жив? Мысль эта отравила Ури всю радость восхождения по трапу самолета. И только когда бело-зеленые пригороды и лазурно-желтые пляжи Тель-Авива закружились, стремительно уменьшаясь за овальной линзой иллюминатора, напряжение отпустило его. Он был жив и летел в Европу!

Он уже бывал там – мальчишкой, лет десять назад: мать возила его во время школьных каникул приобщать, как она это называла, к великой европейской культуре. Вряд ли он сильно тогда приобщился: монотонные ряды картин вдоль музейных стен утомляли и подавляли его, а главное, ему было не до того, он должен был следить за матерью. В то европейское лето он любил ее безнадежной юношеской любовью и ревновал ко всем встречным. Все бесчисленные любовные сцены, изображенные на бесчисленных музейных полотнах, наводили его на мысль о ее тайных похождениях и изменах. И чем больше она восхищалась этими картинами, тем больше он их ненавидел, а вместе с ними художников, живопись и музеи, ненавидел так страстно, что постарался начисто вытравить их из своей памяти.

И вот теперь он собирался увидеть все это снова, свободный от любви к ней и от всякой любви вообще, поскольку любовь к мертвым не в счет. Он сидел зажатым со всех сторон неудобной клеткой самолетного кресла и злорадно представлял себе, как долгими жаркими вечерами она будет маяться у телефона в ожидании его звонка, а он захочет – позвонит, а не захочет – не позвонит.

\* \* \*

Он позвонил ей только накануне возвращения домой, из привокзального автомата в Страсбурге, чтобы напомнить, что завтра в полпервого она может встретить его в аэропорту, если захочет. Услышав его голос, мать часто задышала в трубку, будто намеревалась зарыдать, но удержалась и только спросила, как он себя чувствует. Он говорил с ней по-немецки, частично по детской привычке, частично потому, что хорошо напрактиковался за это европейское лето. Ловко раскатывая языком гортанные звуки, от которых во рту оставался кисло-сладкий аромат яблочных оладьев, неизменно сопровождавших их субботние немецкие беседы с матерью, он соврал, что чувствует себя хорошо и скучает по дому. На чужом, хоть и знакомом с рождения наречии врать было легче, тем более что и выхода другого не было: время действия билета кончалось завтра утром, а денег оставалось четыре марки семьдесят пфеннигов – на кофе и на метро.

Закончив разговор, он прошел в темноте под дождем на перрон, где обнаружил, что поезд на Мюнхен уже подан и двери открыты. Он вошел в вагон, устроился поудобнее в углу и задремал – ехать предстояло всю ночь. Не просыпаясь, он почувствовал, как поезд тронулся и мягко закачался на пружинистых рессорах.

Разбудило его внезапное чувство невесомости – поезд стоял у смутно освещенного перрона. Названия станции он прочесть не смог, оно пряталось в темноте за сеткой дождя. Взгляд его, утомившись всматриваться в неразборчивую готическую вязь на далеком желтом фоне, скользнул было назад в глубь глаз, но застрял на полпути, наткнувшись на картину, столь неправдоподобную, что поначалу Ури принял ее за отражение не замеченной им рекламы на противоположной стене. Десятки, если не сотни мертвенно-бледных морд скалились на него из темноты, зияя черными провалами ощеренных ртов и пустых глазниц. Ури поспешно проверил стену напротив окна – никакой подходящей рекламы там не было – и опять повернулся

к перрону. Морды по-прежнему безмолвно скалились из пустоты – ни тел, ни ног под ними различить было нельзя.

Какую-то долю секунды они еще продолжали неподвижно висеть за стеклом, а потом все разом задвигались и зашумели. При движении у них сразу обнаружались и ноги, и тела, сплошь затянутые в черную кожу, густо усеянную крупными металлическими бляшками – то ли кнопками, то ли шляпками гвоздей. При каждой морде, соответственно, обнаружилась голова, порой обритая наголо, порой увенчанная замысловатым хитросплетением пестро окрашенных волос. Обретя способность двигаться, все головы разом издали единый пронзительный воинский клич, в ответ на который стационарное радио гортанно объявило, что поезд задерживается по техническим причинам. Не прерывая свой леденящий душу вой, головы дружно, словно по команде, повернулись налево, вперед по ходу поезда, представляя себя для обозрения в профиль. Приспособившийся к полутьме перрона глаз Ури начал различать детали: в черной пещере рта каждой головы напряженно вибрировал вздыбленный для крика кончик языка. Слева, от начала поезда, будто притянутые магнитным полем направленных на них взглядов, появились два полицейских, вооруженных резиновыми дубинками. Свободной рукой каждый тащил за цепочку наручника упирающегося верзилу, затянутого в черную кожу. Следом за ними третий полицейский вел на поводке огромную немецкую овчарку.

Откуда-то сверху, с небес, гулкий голос, перекрывая вой, рявкнул короткую отрывистую команду, и вдруг все вопящие рты захлопнулись покорно и разом. В наступившей оглушительной тишине маленькая сплоченная группа стала подниматься под охраной собаки вверх по железной лестнице, ведущей в никуда. Все головы – и глянцево-голые, и пестро-мохнатые – слаженно изгибаясь на тонких юношеских шеях, качнулись ей вслед, словно колосья на ветру, и рты начали приоткрываться, напрягая языки для очередного воинского клича. Отрывистая односложная команда снова грянула из темноты поверх голов, и рты захлопнулись, так и не открывшись.

Полицейские, арестанты и собака все еще медленно шли вверх по лестнице, а навстречу им, пружинисто перепрыгивая через три ступеньки, сбегал матерый Волк, слегка подгримированный под человека. Его поджарое волчье тело было втиснуто в черный кожаный комбинезон, на задние лапы натянуты были черные хромовые сапоги, на передние – черные лайковые перчатки, чтобы спрятать когти. Но ни серебристая стрижка поверх острых ушей, ни серая щеточка усов, маскирующая отсутствие верхней губы, не могли скрыть его волчью природу: длинные хищные клыки выдавали его с головой. В секунду очутившись на перроне, Волк четким воинским шагом промаршировал вдоль поезда и снова рявкнул какую-то односложную команду, в ответ на которую черное кожаное стадо, поблескивая стальными бляшками, безмолвно двинулось к вагонным дверям.

Они вливались в вагон через обе двери и быстро рассаживались по деревянным скамьям. Волк вошел последним, автоматические двери закрылись за ним, и поезд отплыл от перрона в разлитое море дождя. Только тут Ури, зачарованный развернувшейся перед ним драмой, обратил внимание на то, как опустел его вагон. Сбежали практически все, кроме пожилой французской пары в дальнем углу и рыжей американской толстухи, сидящей напротив Ури по другую сторону прохода.

При более внимательном обзоре толстуха оказалась совсем юной. Туго натянутая на ее круглых щеках кожа сияла в полутьме вагона, словно в недрах этих розовых полусфер теплились наивные лампадки любви к ближнему и веры во взаимность. Не столько неразличимыми за толстыми стеклами очков глазами, сколько жадно открытым пухлым ртом она следила, как компактная черная масса волчьей стаи растекалась по вагону, дробясь на мелкие островки, отделенные друг от друга желтыми спинками скамеек. Волчата тоже были юные, почти дети, у многих на шеях и подбородках пупырились малиновые отроческие бугорки с белыми гнойными головками. Волк вошел последним, остановился в дверях и молча ждал, пока они раста-

суют в узких межскамеечных проходах хитросплетение тонких ног с несоразмерно крупными ступнями. Под его взглядом все быстро притихли, и он заговорил – негромко, не повышая голоса:

– Ну что, довольны, герои? О Ремингере и Штранде можно забыть, играть они больше не будут – а значит, кубка нам не видать. Но сегодня есть еще надежда выйти в полуфинал, если всех вас тоже не уведут в полицию.

Слева от Ури кто-то прошелестел одной кожаной ногой о другую, будто хихикнул, и серая волчья морда вдруг ощерилась всем арсеналом своих клыков.

– Все пиво сдать мне! – рявкнул Волк.

В полной тишине десятки пивных банок покатались через головы из рук в руки и беззвучно выстроились на полу перед Волком. Он пнул первую подвернувшуюся банку затянутой в хромовый сапог задней лапой:

– Все в мусор! Немедленно!

Никто не шелохнулся, только слева одна кожаная нога опять прошелестела по другой. Не поворачивая головы, Волк тихо сказал:

– Подними-ка свой зад и вали сюда, Лотар.

Когда Лотар неохотно оторвал свой тощий зад от скамьи, его бритая до блеска голова со странными продольными вмятинами за ушами почти коснулась вагонного потолка. Волк смотрел на него снизу вверх, но это не снижало гипнотической силы его взгляда.

– Собери все банки и выбрось!

Лотар обвел батарею банок тоскливыми мутными глазами и спросил недоверчиво:

– Все?

– Все! И ту, что ты спрятал у себя в сумке тоже.

– А чего я прятал? Ничего я не прятал... – не очень уверенно забубнил Лотар.

– Открой его сумку, Милке! – приказал Волк.

Милке выскочил в проход с правого фланга, лицо его было неразличимо бледным на фоне малинового зубчатого гребня, бегущего по центру его бритого черепа от лба до затылка. Он поднял с пола синюю спортивную сумку, развязал стягивающий ее горло шнур и протянул ее Волку. Тот быстрым толчком ладони по дну сумки выбил из нее банку пива, и она покатила по проходу, ударяясь о скамьи.

– Подними! – скомандовал Лотару Волк.

Лотар послушно наклонился, ловя убегающую банку. Волк кивнул Милке. Милке прицелился и, напрягшись всем телом, тукнул Лотара носком тяжелого ботинка в черный кожаный зад. Лотар потерял равновесие, заскользил по полу, хватаясь за воздух растопыренными пальцами и с размаху врезался лицом в ребро скамейки. Все загоготали.

Лотар медленно поднялся, растирая ладонью ушибленную переносицу, – в глазах его прозрачно читался смертный приговор Милке.

– Только попробуй, тронь его, – процедил сквозь зубы Волк, – вылетишь из команды головой вперед. Собирай банки!

В минуту банки были собраны и сброшены в мусорные бачки, аккуратно расставленные в проходе между скамьями. Покончив с пивом, Волк сел отдельно от всех и, упираясь хромовыми сапогами в пустую скамью напротив, стал писать левой рукой в официального вида блокноте.

Лотар подобрал свою синюю сумку и снова сел у окна. Несколько минут он неотрывно вглядывался в освещенную блеском дождя законную темноту, а потом гибко откинулся всем телом назад и вдруг запел. Запел нежно и складно, без какого бы то ни было знака извне, без приказа, без взмаха дирижерской палочки. И вслед за ним запели все. Его высокий и чистый, почти девичий голос выводил верхние регистры мелодии в заоблачные просторы, куда долетают лишь ангелы и реактивные самолеты, а там, на этих просторах, ее подхватывали сладко-

звучные тенора и мягко спускали вниз, навстречу перистым облакам очень юных баритонов, только вчера переставших быть тенорами.

Это ангельское пение вовсе не вязалось с их волчьим воем на платформе, с их грубыми черными сапогами, блестящие голенища которых, обильно усеянные металлическими бляшками, свободно морщинились под угловатыми коленками. Оно превращало их бледные прыщавые морды во вдохновенные лица гетевских юных Вертеров, приписывая прыщи страданиям неразделенной романтической любви.

Успокоенные этой видимой кротостью, французы осмелели настолько, что с веселым щебетом расстелили на своем столике цветастую пластиковую скатерку и начали разворачивать тщательно упакованные в алюминиевую фольгу домашние бутерброды.

«Ве-е-чер, ве-чер, вечер...» – манило призывно сопрано Лотара.

«Встре-е-чи, встре-чи, встречи...» – перехватывали его призыв тенора.

«Вечно, вечно, вечно...» – доверительно утешали баритоны.

Слаженная многоголосая ласка напева, мягко убаюкивая, сливалась с монотонным покачиванием вагона на стыках: «Вечно, вечно, вечно...» Последнее, что Ури услышал, погружаясь в мгновенный, почти гипнотический сон, был тоненький американский голосок, неуверенно пытающийся найти свой регистр, чтобы бессловесно взлететь на крыльях немецких серафимов и раствориться в блаженстве полета.

\* \* \*

– На черта она тебе сдалась, такая толстуха?

– А я люблю толстух, у них между ног мягко-мягко.

Ури приоткрыл глаза: в вагоне было тихо, пение прекратилось. Хор распался на несколько групп, некоторые спали, остальные с интересом следили за незатейливым спектаклем, разыгрывающимся в двух шагах вокруг рыжей американской девочки по другую сторону прохода. Она сидела на коленях у Лотара, зажатого с двух сторон щетинистым Милке и его близнецом, который отличался от малинового Милке только цветом своего зубчатого гребня – у него гребень был зеленый с золотыми прожилками.

Рыжая девочка, не понимая ни слова из их немецкой скороговорки, была скорей польщена, чем напугана, их вниманием. Неуверенно хихикая, она покачивалась на острых кожаных коленках Лотара, пока любопытные пальцы его соседей заползли ей под рубаху, ощупывая обильные складки ее пышного тела. Похоже, это было ей приятно. Малиновый Милке прижался щекой к ее животу и закрыл глаза.

– Действительно, мягко.

– А пониже еще мягче. И к тому же мокро.

– Сейчас мы это проверим.

Кто-то из зрителей смачно хрюкнул от восторга. Ури скользнул взглядом в угол, где сидел Волк, – там никого не было, только пачка сигарет, оставленная на полуоткрытом блокноте, отмечала его место. Французы тоже куда-то исчезли – то ли сошли на предыдущей станции, то ли сбежали в другой вагон от греха подальше. Между тем сюжет по ту сторону прохода продолжал стремительно развиваться: одна пара рук нетерпеливо обрывала пуговицы рубахи, пока другая расстегивала молнию на джинсах. Толстуха уже не хихикала – испуганно извиваясь всем телом, она пыталась сползти с черных кожаных колен на пол, но третья пара рук, не отпуская, цепко разместила у нее на груди.

Ури, стиснув зубы, прикрыл глаза ладонью в надежде снова уснуть – его это все не касалось, он не обязывался решать чужие проблемы в чужой стране. Тонкий американский голос взвизгнул пронзительно то ли от боли, то ли от страха, словно призывая Ури к действию. Он опять повторил себе, как заклинание, что это не его дело, но темная волна ярости уже нака-

тивала изнутри, поднимаясь все выше и выше, пока не перехватила ему дыхание. Теперь он уже не владел собой, тело его напряглось, готовое к прыжку. Он отвел ладонь от глаз и сказал тихо, но внятно:

– Сейчас же оставьте ее в покое!

Все головы мотнулись в его сторону, чтобы удостовериться, что он и есть источник беспокойства, но, не найдя в нем ничего интересного, дружно вернулись назад, к спектаклю. Тогда он стремительно перемахнул через проход, уже не помня себя, а доверяясь лишь автоматической точности своего тренированного тела. Его руки, ноги, плечи и пальцы хорошо знали свое дело: через пару секунд все трое – и бритоголовый Лотар, и разноцветные близнецы – корчились на полу в проходе. Остальные замерли в напряженном молчании, явно не веря своим глазам. Пользуясь этой короткой передышкой, Ури одной рукой рванул с полки рюкзак толстухи, которая боком, словно краб, ползла по проходу к его ногам. Другой рукой он рванул ее вверх, сунул ей рюкзак и крикнул «Беги!»

Несмотря на шок, она сразу все поняла, схватила рюкзак и метнулась по проходу к дверям. Ее бегство послужило сигналом: сорок промытых пивом и пением глоток испустили пронзительный воинский клич, сорок кожаных тел в едином броске ринулись к Ури. Их численное превосходство поначалу даже послужило ему на пользу: ограниченные узкой коробкой вагона, они попросту мешали друг другу, и ему ничего не стоило отражать набегающие черные волны поднятых рук и ощеренных ртов. Однако он не успел занять единственную выгодную позицию – спиной к стене, да и стены подходящей не было, были только вагонные окна, перегороженные откидными столиками. С такого столика на него и прыгнули сзади – трое или четверо разом, он не мог бы сказать сколько. Длинная сильная рука зажала его шею локтевым сгибом в то время, как его собственные руки заломили ему за спину, вцепившись в каждую, по крайней мере, в пяти местах от плеча до запястья. Воинский клич, слегка было оскудевший, вновь усилился до дребезжания оконных стекол, взмыл на самые высокие ноты, на долю секунды повис под потолком и вдруг опал, словно изо всех напрягшихся для крика легких разом выпустили воздух. Стало очень тихо, даже дыхания не было слышно.

– Вы что, балбесы? – сказал голос Волка. – Опять за свое?

Никто не ответил. Локтевой зажим на горле Ури напрягся, но не ослабился, так что смотреть он мог только на мутный вагонный фонарь над проходом. Несколько четких шагов по линолеуму, и клыкастая волчья морда, подгримированная щеточкой усов под человечью, заслонила свет фонаря.

## Клаус

Когда мамка сказала, что у нас забастовка, я сперва сказал ей: «Не хочу!» Не потому, что я так люблю выгребать дерьмо из-под свиней, а потому, что сегодня фрау Инге дала бы мне пять марок на игровой автомат, чтобы я мог играть. Мамка сильно сердится на фрау Инге за то, что она каждую неделю выдает мне пять марок, но ничего не может против этого поделывать, потому что это мои деньги, я их заработал. Я-то заработал больше, но остальное она отдает мамке, а эти пять марок – мои.

Когда я сказал: «Не хочу забастовку!» – мамка влепила мне оплеуху и пригрозила, что выпорот меня, если я буду очень раскрывать рот.

– Пускай она не думает, – орала мамка, – что она может подкупить тебя этими жалкими марками! Она ведь берет их из моего кармана, а не из своего!

Почему она назвала мои марки жалкими, я понял: ей жалко, что фрау Инге отдает их мне, а не ей. Но насчет кармана она точно наврала – я сам много раз видел, как фрау Инге достает их из своего кармана, а не из мамкиного.

Пока я обо всем этом думал, мамка кончила кричать и стала вертеться перед зеркалом, перебрасывая волосы то с левого уха на правое, то с правого уха на левое, будто это могло сделать ее хоть немного похожей на фрау Инге. Мало надежды – с ее-то жирным задом! Но она, по-моему, себе очень нравилась – она накрутила глаза синим, намазала губы вишневой помадой и долго собой любовалась. Правда, верхнюю губу ей пришлось полностью нарисовать на коже, потому что у нее, как и у меня, верхней губы нет, есть только узкая-узкая полоска совсем без уголков. Потом она напялила свое новое вишневое пальто с большими золотыми пуговицами и опять залюбовалась собой в зеркале. Наглядевшись на себя, она взяла сумочку и объявила, что уезжает в город и будет ночевать у тети Луизы.

Когда я это услышал, я громко заплакал, сам не знаю почему. Наверно, потому, что у нее в сумочке были деньги, а я из-за ее забастовки не пошел сегодня в замок и не получил мои пять марок на игровой автомат.

Она остановилась в дверях и, не оборачиваясь, спросила своим самым железным голосом:

– Чего ревешь? Хочешь, чтобы я осталась дома?

Тогда я заплакал потише, – испугался, что она и вправду останется и я не смогу поиграть в Инге и Карла.

Это ее успокоило, она посмотрела на меня и сказала уже не так сердито:

– Ты ведь не боишься оставаться один, ты уже взрослый, правда?

Я закивал, но слезы все текли и текли у меня по щекам и никак не останавливались. Тогда ей стало меня жалко, а может, ей очень хотелось уехать, не знаю, но она вынула из сумочки две марки и протянула их мне:

– Можешь пойти в «Губертус» и поиграть на автомате.

Я хотел сказать ей, что мне полагается пять марок, а не две, но пока я глотал слезы, она уже закрыла за собой дверь и быстро зашагала к автобусной остановке, наверно, боялась опоздать на автобус. И я подумал, что если я задержу ее из-за моих пяти марок, то она и вправду опоздает и я не смогу поиграть в Инге и Карла. Потому что при ней ничего не получится – она сразу заметит, рассердится и станет бить меня по рукам. Не понимаю, почему она так сердится, когда я играю в Инге и Карла, ведь я никому не мешаю: Инге ничего об этом не знает, а Карла давно уже здесь нет. Не знаю, куда он делся, он исчез очень скоро после того, как я вошел из свинарника в кухню за бутербродом и увидел их на полу. Я так на них засмотрелся, что приклеился к полу и забыл про свой бутерброд. Я б так и простоял там весь день, глядя, как

они возьмется, но мамка подкралась сзади и выволокла меня во двор, при этом она шипела и брызгала слюной, как железная печка, на которую кто-то плюнул.

Сейчас мамка не могла мне помешать, и мне очень хотелось поскорей начать играть в Инге и Карла, – так, чтобы руки у меня были от Карла, а ноги и все остальное – от Инге. Иногда мне приходится делать все наоборот – чтобы руки были от Инге, а ноги и все остальное от Карла, это когда мамка дома и я должен прятаться от нее под одеялом. Но сегодня я мог делать все, что захочу. Я запер дверь и начал думать о фрау Инге – как я снимаю с нее сперва сапоги, потом чулки, а потом начинаю ладонью медленно гладить ее ноги от колен вверх. У меня уже рот наполнился слюной и в глазах потемнело, будто за окном выключили солнце, но тут кто-то стал отчаянно колотить в дверь.

Я подумал, что это мамка не успела на свой автобус и вернулась, и начал быстро застегивать штаны. Но руки у меня дрожали и молнию заело на полпути, а в дверь колотили все громче и громче, так что мне пришлось выпустить рубаху поверх штанов и побежать отворять. По дороге я придумывал, как объяснить мамке, что я ей не сразу открыл, но это оказалась не она, а Дитер Швальб с соседней улицы, которого все называли Дитер-фашист, потому что он брил голову наголо и носил черные кожаные штаны и черные сапоги со стальными кнопками. Я решил, что ему зачем-то нужна мамка, потому что он никогда раньше меня не замечал, но оказалось, что он пришел за мной. Он сказал, что наша городская футбольная команда должна завтра в Мюнхене играть с какой-то другой командой, не помню какой, и не хочу ли я поехать с ним в Мюнхен, чтобы кричать, свистеть и топтать на стадионе в помощь нашим. Я ответил, что, конечно, хочу, но у меня нет денег на билет. Тут он увидел мои две марки на столе и сказал, что билет – ерунда: если я отдам ему эти две марки, он отвезет меня на станцию на своем мотоцикле без всякого билета, а дорогу до Мюнхена оплачивает клуб. И я подумал: а почему бы мне не поехать, раз дорогу оплачивает клуб, а мамки как раз нет дома? Она бы меня ни за что не пустила, а без нее я могу делать, что хочу – пусть знает, как ездить без меня ночевать к тете Луизе! Она ведь даже не спросила – а может, я тоже хотел бы с ней поехать?

Мне стало очень обидно, когда Дитер сунул мои две марки в карман, но мы так быстро побежали к его мотоциклу, что я не успел заплакать. Он прыгнул в седло, а мне велел сесть сзади и крепко обхватить его руками. И мы помчались по шоссе!

Я никогда раньше не ездил на мотоцикле, и мне было сперва очень страшно. Мне все время казалось, будто я сейчас упаду, и я стал все сильнее прижиматься к спине Дитера и представлять себе, что это Инге. Это мне так понравилось, что я даже забыл, что я мчусь на мотоцикле по шоссе. И вдруг Дитер обернулся и заорал сердито:

– Эй, ты, прекрати! И ничего такого себе не воображай!

Я так испугался, когда он на меня закричал, что перестал за него держаться и чуть не упал. Тогда он заорал еще громче:

– Держись, идиот, держись! Только прекрати свои штучки!

Мне пришлось опять за него схватиться и прижаться к его спине, хотя мне это было совсем неприятно. Всю дорогу до станции я хотел его спросить, как он догадался, что я воображаю, будто он – это фрау Инге, но на шоссе очень громко выл ветер, а потом совсем стемнело и начался дождь, а потом мы приехали и было уже поздно спрашивать, надо было спешить к поезду. Дитер поставил мотоцикл на стоянку и потащил меня на платформу, где нас ожидали еще трое других, одетых, как и он, в черные кожаные штаны и черные сапоги со стальными кнопками, а с ними еще трое просто в джинсах. Когда они увидели меня, они стали жутко хохотать и спрашивать Дитера, неужто он не мог найти в своей деревне никого получше. Дитер рассердился и сказал, что я могу орать и топтать ничуть не хуже других. Тогда они стали подначивать меня, чтобы я показал им, как я умею орать и топтать, а то тренер нашей команды не захочет взять меня с собой в Мюнхен.

Мне совсем не хотелось им это показывать, но я испугался, что тренер и вправду не захочет взять меня с собой, а у меня даже нет денег на автобус обратно в деревню. Поэтому я закрыл глаза и представил себе, как я сержусь на мамку, когда она идет в «Губертус» без меня и пьет там пиво с охотниками. И тогда я сам не заметил, как начал орать и топать, так что все были довольны, особенно Дитер. Он даже похлопал меня по спине и сказал, что я молодец.

Тут подошел поезд, и мы все побежали к последнему вагону, из которого нам махали и звали. На подножке стоял наш знаменитый тренер Эрих Кройц, – я его сразу узнал, его часто показывают по телевизору. Он спросил:

– По сколько вы привели? Каждый по одному? Немного.

И махнул рукой, чтобы мы скорее проходили в вагон, потому что поезд уже тронулся. В вагоне было полно народу, почти все с бритыми головами и в черной коже с кнопками. Дитер забыл про меня, побежал по проходу в другой конец вагона и уселся среди своих, так что я сразу его потерял, такие они все были одинаковые.

Я сначала стоял в проходе, – из-под двери дуло холодным, и голова у меня была мокрая после поездки под дождем. Я стал думать, как рассердится мамка, когда узнает, что я поехал с Дитером, и мне захотелось выскочить из поезда и поскорей вернуться домой. И вдруг я увидел свободное место в углу возле уборной. Я быстро прошел туда и сел. В углу было тепло, никто меня не прогонял, вагон тихо покачивался, за окном было совсем темно, и я не заметил, как заснул.

Когда я проснулся, я не сразу понял, что спал. Я даже не сразу понял, что я еду в поезде, потому что вокруг никого не было, все повскакивали со своих мест и столпились в дальнем конце вагона. Из моего угла не было видно, что у них там происходит, но я не знал, можно ли и мне пойти туда и поглядеть. Пока я решал, идти мне туда или нет, дверь в тамбур отворилась и вошел тренер Эрих Кройц и тоже стал смотреть в тот дальний конец, где столпились все, кроме меня. Хоть он, как и я, не мог видеть ничего, кроме черных кожаных спин, лицо у него стало такое, какое было в прошлом году в телевизоре, когда он объяснял, почему наша команда не заняла первое место, хотя была лучше всех.

Он очень быстро шагнул и оказался возле черных спин, которые тут же расступились и образовали ровный черный коридор, так что и мне стало видно все до конца. Это было совсем, как в фильме, который показывают по телевизору вечером после погоды: десять человек в черном держали высоко в воздухе одного в зеленой нейлоновой куртке, и хоть их было десять, а он один, все равно было видно, как им трудно его удержать. Я не видел лица Эриха Кройца, но они видели – он взмахнул рукой, и все десять человек сразу разжали руки, но тот, в зеленой куртке, не упал. Он прыгнул вперед, выгибая спину, и мягко опустился на пол, как кошка, когда ее бросают с крыши, – я видел, как мальчишки в нашей деревне бросали кошку с крыши: они так долго смеялись, что я тоже начал смеяться, пока у меня из глаз не потекли слезы.

Но в вагоне никто не засмеялся, когда тот, в зеленой куртке, встал на ноги и уперся глазами в Эриха Кройца. Было очень тихо.

– Это он один их всех тут раскидал? – спросил Эрих Кройц, и я увидел, что между скамеек в том конце вагона торчат в разные стороны черные кожаные ноги в сапогах с кнопками. Я не успел сосчитать, сколько их было, потому что раздался ужасный вой и кожаные спины снова сомкнулись, закрывая все – и ноги, и зеленую куртку, и Эриха Кройца.

Они выли так долго, что у меня загудело в ушах и по спине побежали мурашки. Тогда я зажмурил глаза и стал представлять, будто сейчас зима и с гор дует такой сильный ветер, что у меня по спине бегут мурашки, и тут опять стало тихо. Черные кожаные спины снова расступились и образовали ровный черный коридор, по которому понесли на руках того, в зеленой нейлоновой куртке, а Эрих Кройц шел рядом с таким выражением, какое было у мамки, когда меня несли на носилках, после того как мальчишкам надоело бросать с крыши кошку и они сбросили меня.

Когда они подошли к дверям, тот, в зеленой куртке, вдруг вывернулся плечами из куртки, в то время как каблуки обеих его кроссовок одним толчком уперлись в лица двух задних, которые держали его за ноги. Задние взвыли и шарахнулись в разные стороны, выпуская из рук пинающие их ноги в кроссовках. Я и глазом не успел моргнуть, как тот, в куртке, стоял, уже без куртки, прижавшись спиной к двери, а четверо передних обалдело застыли, вцепившись в пустую зеленую куртку.

В задних рядах кто-то попробовал завывать, но Эрих Кройц рявкнул:

– Молчать!

Потом он обернулся к тому, уже без куртки, и спросил:

– Скольких ты можешь уложить, парашютист?

– Может, десяток, может, чуть больше.

– Ну, а дальше что?

– Я так далеко не загадываю.

– А я загадываю. И не хочу убийства. Но я не могу тебя просто так отпустить, ясно? – сказал Эрих Кройц.

С моего места в углу было хорошо видно, как черные напирают сзади: они как будто совсем не двигались, но круг их все больше смыкался за спиной Эриха Кройца.

– Ясно, – сказал парашютист, хоть никакого парашюта у него по-моему не было.

– Так что будем делать? – спросил Эрих Кройц и раскинул руки, потому что черные опять завывали и стали напирать на парашютиста.

– Я боюсь, что мне придется позволить им выбросить тебя на ходу, – сказал Эрих Кройц, и черные завывали еще громче.

Парашютист обвел их взглядом и сказал:

– Пускай они отойдут, я сам спрыгну.

Может, у него все-таки был парашют?

Эрих Кройц резко рванул вниз окно, и ветер закружил по вагону мокрые листья. Потом он обернулся к черным, которые продолжали выть, и тихо сказал:

– Два шага назад, марш!

Продолжая выть, они несколько секунд покачались взад-вперед и отступили, открывая парашютисту путь к окну. Он оттолкнулся от пола, легко вскочил на откидной столик, низко наклонил голову и на полной скорости нырнул в пустоту. Вой тут же прекратился. Все обалдело смотрели на темный квадрат окна, за которым не было ничего, кроме холодного ветра.

– Ну что, довольны, балбесы? – спросил Эрих Кройц и закрыл окно. – Теперь все по местам. Сейчас мы выясним, кто заварил эту кашу.

И все молча пошли в тот конец вагона, так что мне больше не на что было смотреть. Мне, конечно, хотелось открыть то окно и выглянуть – а вдруг я еще успею увидеть парашютиста, пока он кружится над лесом на своем парашюте? Только я боялся, что они меня заметят, как те мальчишки в нашей деревне, которые бросали кошку с крыши.

Но все-таки я все время смотрел на это окно и никак не мог оторваться, так что мне пришлось закрыть глаза, чтобы никто не заметил. Я стал представлять себе, что я лежу в своей кровати и сплю. Я уже почти заснул, но кто-то тряхнул меня за плечо – совсем как мамка, когда она будит меня спозаранок, чтобы я шел в замок чистить свинарник. Только это была не мамка, а Дитер-фашист, он схватил меня за руку и потащил в тамбур. Как только мы вышли в тамбур, поезд замедлил ход и остановился. Дитер открыл дверь и, не давая мне опомниться, вытолкнул меня на платформу и сам выскочил вслед за мной. Поезд тут же тронулся, и мы остались на перроне одни.

– Пошли! – крикнул Дитер и побежал, а я побежал за ним, спрашивая на бегу куда.

– Домой! – ответил он не останавливаясь. – Мы еще успеем на последний автобус в Кройцнах, а там два шага до дома.

Я остановился и сказал, что не могу на автобус, у меня нет денег на билет. Тогда Дитер больно стукнул меня и пообещал набить мне морду, если он из-за меня опоздает на автобус. Я побежал за ним, и мы вскочили в автобус в последнюю минуту, когда он уже выруливал со стоянки. Дитер вынул из кармана десять марок и купил два билета, себе и мне. Он сказал, что не будет требовать с меня эти пять марок, если я никому не разболтаю, что мы с ним ехали в этом поезде и видели, как парашютист прыгнул из окна. Он только называл его не парашютистом, а нехорошим словом, за которое мамка всегда бьет меня по губам.

## Ури

Приземлился он с привычным автоматизмом – спасибо Армии обороны Израиля с ее всенощными маневрами и беспощадными тренировками. Едва коснувшись земли руками, он с силой прижал подбородок к груди и точным мускульным толчком послал все тело вперед по ходу поезда, пружинисто изгибаясь на лету так, чтобы опять принять на руки стремительно несущуюся навстречу землю. После второго толчка руками он мог бы уже подняться на ноги, но врезался правым коленом в каменный мостик, переброшенный через заросшую папоротниками придорожную канаву. В колене что-то хрустнуло, и он на миг потерял сознание. Он выбыл всего на несколько секунд, не больше, и снова сработал привычный автоматизм: он встряхнул себя в сознание, хотя оно сопротивлялось и норовило ускользнуть, поднялся через силу и скомандовал себе: «Шагом марш!» Скомандовал и заковылял по шпалам, которым не было видно конца.

Моросил ледяной дождь, так что рубашка быстро промокла и холодным компрессом прилипла к спине. Ступать на поврежденную ногу было нестерпимо больно, но Ури был хорошо натренирован терпеть. Чтобы отвлечься от боли, он мысленным взором окинул свое столкновение с футболистами и окончательно убедился, что вмешиваться было так же глупо, как и неотвратимо.

Покончив с прошлым, он обратился к будущему, которое было куда менее ясным. Куда он, собственно, брел по мокрым нескончаемым шпалам? Предположим, к ближайшей станции, но сколько времени понадобится, чтобы до нее дойти? А если даже он дойдет, так что толку? У него было что-то около четырех марок с мелочью, – счастье еще, что он сунул билет на самолет и паспорт в карман брюк, а не в куртку. А вот железнодорожный билет остался в рюкзаке, который никто, конечно, не удосужился выбросить из вагона ему вслед – интересно, что они с ним сделают, сожгут? Но дело было не в билете: Ури ясно представил себе серую вокзальную стену, а на ней желтый лист железнодорожного расписания, где красные цифры под словом «Абфарт» безапелляционно утверждали, что он ехал последним ночным поездом на Мюнхен.

Выходило, что шагать по шпалам не имело никакого смысла, тем более что поврежденное колено решительно против этих шпал возражало. Надо было искать какой-то другой выход. Он вскоре представился в виде узкой проселочной дороги, наискосок пересекающей железнодорожные пути. Оставалось выбрать, куда свернуть, налево или направо. И там, и там была крошечная темень, и там, и там над головой смыкались мокрые ветви высоких сосен. Ури представил выбор колену, и оно повело его направо, поскольку это было по склону вниз. Спуск, как и следовало ожидать, оказался обманом, глинистая дорожка очень скоро начала карабкаться вверх, на что колено отреагировало подлой попыткой подломиться под ним и швырнуть его на мокрую землю. Но он не поддался и приказал своему телу двигаться вперед – телом своим он владел отлично, не то что душой. С душой дело обстояло гораздо хуже: там бесконтрольно копились какие-то мрачные силы, которые вдруг вырывались наружу без всякого предупреждения и крушили все вокруг, включая его самого. А тело пока подчинялось приказу, оно могло двигаться вперед даже через не могу.

Шаг-шаг, левой-правой. Шаг-шаг, левой-правой. Сколько тысяч раз он повторил себе этот нехитрый, но почти невыполнимый приказ, пока навстречу ему – то ли в бреду, то ли наяву – стали выползать из-за деревьев пряничные домики немецкой деревни? После смолянисто-черной непроглядности лесной дороги они празднично ослепили Ури уютным сиянием неплотно зашторенных окон. Выйдя на открытое пространство, он понял, что деревня растянулась вдоль узкой долины, зажатой с обеих сторон горами. В заполненной моросящим дождем тьме нельзя было сказать, высокие ли это горы или нет, но почему-то чувствовалось, что высо-

кие. По какой-то особой плотности воздуха, что ли, какая бывает только в закрытом пространстве. Где-то недалеко внизу перекачивался через камни напористый горный ручей.

Чувствуя, как силы оставляют его, Ури нерешительно заковылял по пустой извилистой улице, слабо освещенной рассеянным светом из окон. Что, собственно, он мог сделать? Постучаться в чужой дом почти в полночь и сказать, что заблудился? Так ведь не откроют, еще, пожалуй, и собаку спустят! Оставалась только надежда на какой-нибудь непутевый деревенский кабачок, все еще открытый, несмотря на поздний час.

Улица дугообразно спустилась к уютной кольцевой площади с круглой клумбой посредине, в геометрическом центре которой высился обломок красной гранитной скалы, тускло освещенный одиноким фонарем. По красному граниту переливалась всеми цветами радуги залитая дождем готическая вязь. Пересекая площадь, Ури прочел, что это памятник местным солдатам, погибшим в Первой и Второй мировой войнах, и невольно удивился, что кто-то ставит памятники немецким солдатам – он привык видеть только памятники их жертвам.

Сразу за площадью улица стала круто взбегать вверх по холму. Ури прикинул крутизну подъема и скомандовал себе: «Вверх!» – но тут колено окончательно вышло из повиновения и поволокло его в неказистый переулок, сбегаящий вниз к ручью. Переулок оказался тупичком – он упирался в двухэтажный белый дом под черепичной крышей с высоким резным крыльцом, уставленным горшками пышных гераней. По обе стороны крыльца розово светились задернутые прозрачным тюлем окна, а над дверью переливалась сине-зеленая неоновая надпись «Кабачок Губертус». Сам Губертус, попыхивая трубкой, оценивающе смотрел на Ури с торцовой стены кабачка – косматая голова его, искусно вырезанная из огромного корня, занимала всю площадь стены от земли до крыши.

## Клаус

Когда мы с Дитером добежали до деревни, он еще раз повторил, чтобы я начисто забыл про все, что я видел в поезде, потому что, сказал он, мы никогда в этом поезде не ехали, и поднес к моему носу кулак: «Ясно?» Кулак у него был здоровенный, густо усыпанный большими рыжими веснушками, так что я быстро ответил: «ясно», чтобы он его скорей убрал.

– А не то смотри, убью! – пригрозил он, сунул кулак в карман и побежал вверх по улице к своему дому, громко топая черными сапогами. Я тоже побежал к своему дому, пытаюсь угадать, что мамка приготовила сегодня на ужин. Потом я стал думать о том, как объяснить мамке, где я был, раз нельзя рассказать ей, что мы с Дитером ездили на поезде, и тут я вспомнил, что ее нет, ведь она будет ночевать в городе у тети Луизы. Я даже остановился, когда это вспомнил, и мне совсем не захотелось сидеть весь вечер в пустом доме, если мамы там нет. Почему-то, когда она дома, я ее совсем не люблю и хочу, чтобы она куда-нибудь ушла, а только она уходит, мне сразу становится скучно и хочется плакать.

Но я не стал плакать и решил, что только забегу домой съесть сосиски, которые мамка оставила мне в холодильнике, а потом пойду в «Губертус», где в углу за бильярдом стоит мой автомат. Конечно, я не смогу играть, раз я не получил свои пять марок у фрау Инге и Дитер забрал те две марки, что мне оставила мамка, но можно смотреть, как играют другие.

Они не любят в «Губертусе», когда я прихожу без мамы и без денег. Когда я вошел, Эльза сказала Вальтеру:

– Опять этот идиот Клаус явился без денег. Позвони сейчас же Марте, пусть заберет его отсюда, пока он чего-нибудь не натворил.

Она сказала это громко, во весь голос – она считает, что при мне можно говорить что угодно, я все равно не пойму. Но я совсем не такой идиот, я лучше их всех играю на автомате, и никто из них не может меня обыграть. Просто с автоматом мне гораздо легче, я его не боюсь – он не может меня стукнуть или сказать что-нибудь обидное.

Конечно, Вальтер не смог дозвониться мамке, она ведь уехала в город к Луизе. Тогда Эльза велела ему выставить меня за дверь, хоть я не делал ничего плохого, просто стоял возле автомата, на котором никто не играл. Я слушал, как звенят колокольчики, и смотрел, как красные цифры зажигаются и гаснут на желтом поле.

Эльза всегда боится, что я распугаю ее клиентов, – кто-то наболтал ей, будто одна женщина из соседней деревни родила мертвого ребенка, потому что перед родами часто смотрела, как я играю на автомате. Но Вальтер не спешил меня выгонять – на улице лил страшный дождь, и ни одной беременной женщины в «Губертусе» не было. А может, он просто не хотел слушаться Эльзы или хотел сделать ей назло – часто, когда Эльза выходит пописать, он рассказывает Гейнцу, как он любит делать все ей назло.

Сейчас они с Гейнцем как раз сидели за столиком и пили пиво: еще до моего прихода Гейнец принес в «Губертус» нового лешего, которого он вырезал из большого корня. Гейнец и Вальтер всегда долго обмывают каждого нового лешего прежде, чем вешать его на стенку. И сейчас вместо того, чтобы выгонять меня, Вальтер пошел и нацедил себе и Гейнцу еще по кружке пива и хотел взять новую тарелку сухой колбасы, но Эльза не дала. Она стала приставать к Гейнцу, чтобы он нашел свою сестру и велел ей забрать ее уroda, то есть меня.

Хоть Гейнец с мамкой много лет не разговаривает, он за меня всегда заступается – может, потому, что они поссорились из-за меня. Он на нее обиделся с тех пор, как она выбросила всех его леших из нашего дома и объявила, что я у нее родился такой неудачный из-за того, что она всегда видела вокруг себя его деревянных уродов: она все говорит при мне, ей кажется, что я ничего не понимаю. А я тогда все прекрасно понял – она разозлилась на него за то, что он решил жениться, а она хотела, чтобы он всю жизнь был неженатый и заботился только о нас с

ней. Но ей ничего не помогло – он все равно женился и продолжал вырезать своих леших из старых корней, которые собирал в лесу.

Но сейчас он все-таки за меня заступился и сказал Эльзе, чтобы она оставила меня в покое, потому что я никому не мешаю. А я и правда никому не мешал. Я стоял и откручивал от своей куртки большую металлическую пуговицу – она была размером с марку, и я подумал, что могу бросить ее в автомат и поиграть. Я долго-долго крутил пуговицу, так что почти оторвал ее, и вдруг услышал за спиной чужой голос:

– Стакан глинтвейна, пожалуйста.

Я обернулся посмотреть, кто это говорит и увидел парашютиста. Я сразу его узнал – хоть парашюта у него не было, это был точно он. Говорил он по-городскому, не так, как наши деревенские: он оттягивал концы слов кверху, будто спрашивал. И вообще сразу было видно, что он чужой. Он промок до нитки – небось все это время кружил под дождем на своем парашюте. С его ботинок на пол сразу натекла лужа, а в волосах у него застряли листья и мелкие веточки.

Вальтер подал ему стакан горячего вина, а Эльза, поджав губы, стала тут же вытирать лужу – она терпеть не может грязь на полу. Парашютист сел на высокий стул у стойки и начал медленно пить вино, а я опять взялся за свою пуговицу. И тут вошла фрау Инге.

Я тут же забыл про пуговицу и уставился на нее. На ней был белый плащ, туго перетянутый поясом, и высокие белые сапоги – так она всегда ездит из замка в город, а в свинарнике она работает в синем комбинезоне и в кедах. Но что бы она ни надевала, она всегда выглядит красивее всех. Когда я сказал это мамке, она меня больно стукнула по губам и сказала, чтоб я не разевал рот на то, на что мне не положено разевать. Я не знаю, что она имела в виду, наверно, чтоб я не говорил ей того, что она не хочет слышать. Ну, я больше и не говорю – ей же хуже.

Фрау Инге сначала не заметила меня, она стряхнула дождевые капли с волос и заказала у Эльзы чашку кофе. Эльза выставила все свои желтые зубы в сладкой улыбке, хоть она фрау Инге терпеть не может, уж я-то знаю – при мне все говорят все, что думают. Тут фрау Инге увидела меня – через плечо Эльзы в зеркале. Она быстро обернулась и спросила:

– Что-нибудь случилось, Клаус? Почему вы с матерью сегодня не пришли на работу?

Я сразу испугался, что придется ей сказать про забастовку – мамка хитрая, сама сбежала к тете Луизе, а меня оставила тут отдуваться. Поэтому я ничего не ответил, а стал еще сильнее крутить пуговицу на куртке. Но от фрау Инге не так просто было отделаться:

– Ты что, язык проглотил, Клаус? Почему мать не предупредила меня? Она знала, что я рано утром должна везти мясо на колбасную фабрику!

Тут пуговица наконец оторвалась со страшным треском и упала на пол под бильярд, так что мне пришлось стать на четвереньки, чтобы ее поднять. Пуговицу я нашел не сразу, я засмотрелся на колени фрау Инге – они выглядели очень красиво в просвете между белым плащом и белыми сапогами, они были сразу и круглые, и длинные, не то что у мамки, у ней колени хоть и круглые, но острые.

Фрау Инге просунула руку под бильярд и взяла меня за ухо:

– Ну, что там, Клаус? Почему ты от меня прячешься?

От прикосновения ее пальцев мне стало горячо-горячо, я бы сейчас мог прыгнуть под машину, если бы она велела. Я подобрал пуговицу и сказал, глядя на нее снизу:

– У нас забастовка!

Она засмеялась и отпустила мое ухо:

– Ах, у вас забастовка? А у нас что?

Хоть она и рассмеялась, мне все-таки показалось, что она на меня рассердилась, потому что она не стала дожидаться, пока я вылезу из-под бильярда и все ей объясню. Она отвернулась от меня и пошла за своим кофе, которое Эльза поставила рядом с мокрым локтем парашютиста. Он к этому времени выпил глинтвейн и начал рыться в карманах, искать деньги. Я подумал, что у него может не хватить денег расплатиться – я тоже так роюсь в карманах, когда не знаю точно,

хватит мне или нет. Фрау Инге взяла свой кофе и стала отхлебывать его маленькими глотками. Она не села на стул и не обернулась, хоть видела в зеркале, что я стою у нее за спиной и хочу ей все объяснить. Чтобы не заплакать, я стал считать монеты, которые незнакомец выкладывал на стойку, но никак не мог сосчитать – слезы застилали мне глаза.

Денег ему хватило – когда Эльза взяла то, что ей причиталось, на стойке осталось две марки и десять пфеннигов. Чтобы никто не заметил, как мне хочется схватить эти две марки и побежать играть, я быстро подошел к автомату и бросил в щель пуговицу. Пуговица застряла в щели, от этого красные цифры стали метаться по экрану, налетая друг на друга, а где-то внутри автомата прерывисто завывла сирена. Она завывала так пронзительно, что все дико заорали, а фрау Инге вздрогнула и уронила на пол чашку. На этот раз Эльза не бросилась вытирать лужу тряпкой – она стояла за стойкой, заткнув уши пальцами, и визжала:

– Гейнц! Вальтер! Сделайте же что-нибудь с этим автоматом!

Она визжала, совсем как свинья в нашем свинарнике, когда конвейер подвозит ее под нож, только шея у нее была тощая, не то что у мамки, у той шея, как у свиньи. Я вспомнил про мамку и страшно рассердился, что она затеяла эту дурацкую забастовку и уехала в город, а меня оставила тут улаживать все дела. Кроме того, я рассердился на Гейнца, который выпил так много пива, что никак не мог дойти до автомата – он нацеливался на автомат, разбежался, но по пути ноги его сами сворачивали в сторону и его пронесило мимо.

И вдруг стало тихо-тихо – пока я следил за Гейнцем, парашютист подошел к автомату с другой стороны и выдернул шнур из розетки. Такого ужаса я никогда не видел – экран автомата стал черный и мертвый, и я испугался, что больше никогда не смогу на нем играть. Я быстро поднял шнур с пола и сунул вилку обратно в розетку. Автомат снова завыв и вслед за ним завизжала Эльза:

– Вальтер, немедленно вышвырни отсюда этого идиота!

Вальтер с трудом поднялся из-за стола и направился ко мне. Я хотел спрятаться под бильярд, но парашютист сказал:

– Минуточку! – и Вальтер остановился.

Парашютист взял со стойки нож, которым Эльза режет колбасу, и быстро отвинтил какую-то гайку на стенке автомата, под ней открылась дверца, за которой весело сплетались разноцветные провода. Парашютист просунул нож под мою пуговицу и нажал на нее: пуговица выпала ему на ладонь, и автомат замолчал снова. Парашютист закрыл дверцу, завинтил гайку, и все опять стало хорошо: зазвенели колокольчики и красные цифры замигали на желтом поле.

– Твоя? – спросил меня парашютист и отдал пуговицу мне.

– Пуговица! – завопила Эльза. – Этот кретин бросил в автомат пуговицу! Я говорила, нельзя впускать его, когда у него нет денег!

Я очень обрадовался, что автомат работает, и захотел немного поиграть, но Эльза заметила, что я опять пытаюсь сунуть пуговицу в щель, и крикнула:

– Забери у своего племянника пуговицу, Гейнц!

Как раз в этот момент Гейнц добрался до автомата и поэтому ему было легко вырвать у меня пуговицу. Он сунул мою пуговицу в карман своей куртки и пошел допивать пиво. А я наконец заплакал. Я плакал громко и не мог остановиться – мне хотелось, чтобы фрау Инге пожалела меня и перестала на меня сердиться. Но она, не обращая на меня внимания, повернулась ко мне спиной и стала смотреть, как в телевизоре две лохматые тетки дрыгают ногами. Тогда парашютист взял со стойки свои две марки и протянул их мне.

– Хватит плакать, парень! Бери деньги и беги играть!

Я схватил деньги и бросился к автомату, а он пошел к выходу. Я вдруг вспомнил, что надо сказать «спасибо» и обернулся – но он уже подходил к дверям, и тут я заметил, что он сильно хромает.

## Инге

Инге вернулась из города усталая и голодная. Подъезжая, она еще издали услышала встревоженный лай Ральфа, но когда она открыла ворота, он не побежал ей навстречу, а продолжал, беспокойно подвывая, топтаться на пороге свинарника. Она вошла в свинарник и сразу поняла, что Марта с Клаусом сегодня не приходили: немытые, некормленные свиньи хрюкали за загородкой обиженно, как дети.

Инге крикнула им: «Потерпите!» – и помчалась в левое крыло замка, где жил отец. Отцу крикнуть: «Потерпи!» – она не могла: она уже издали услышала знакомый колокольный звон – он злобно колотил своей железной лапой в подвешенный над его креслом сигнальный рельс.

Когда она с силой распахнула тяжелую резную дверь, ведущую в покои отца, он уже катился ей навстречу из темноты, как маленький игрушечный танк, освещенный вправленным в изголовье кресла фонариком, который он умел зажигать сам. Кроме этого жалкого фонарика в комнатах отца не горела ни одна лампа. Значит, дневная сиделка ушла еще засветло, не подозревая, что ни Марта, ни Клаус не зайдут зажечь свет и накормить отца ужином. Отступая к двери под натиском отцовского кресла, Инге утешительно забормотала:

– Ну, не сердись, Отто, не надо. Я ведь не знала, что они не придут.

В ответ Отто заколотил лапой в рельс с удвоенной силой и попытался наехать на Инге, но она ловко увернулась и, протиснувшись между креслом и стеной отца за спину, умудрилась обхватить его плечи обеими руками. От ее прикосновения он сразу обмяк и, потеряв всю свою агрессивность, попытался лизнуть ее руку.

– Вот и хорошо. Успокойся, я уже здесь, теперь все в порядке.

Пока она разогревала ужин Отто, он порывался отстучать ей морзянкой какие-то смутные жалобы на дневную сиделку, которую он заподозрил то ли в алкоголизме, то ли в клептомании. Но Инге не стала вслушиваться – сейчас ей не хватало только проблем с сиделкой. Наспех покормив отца, она подкатила его к телевизору, укрыла пледом и бегом поднялась к себе, чтобы позвонить Марте. Она набрала номер и долго вслушивалась в унылые длинные гудки в надежде, что кто-нибудь ответит. Когда никто не ответил, она так разнервничалась, что не стала есть, а как была, в мокрых белых сапогах, вывела фургон и помчалась в «Губертус», выяснить, что у них там стряслось. Ральф с громким отчаянным лаем увязался за ней. Она поняла, что он так и будет бежать за фургоном всю дорогу и сжалась над ним: притормозила на повороте и приоткрыла дверцу кабины. Не дожидаясь приглашения, он с ходу вскочил на сиденье и начал шумно отряхиваться, разбрызгивая дождевые капли во все стороны.

Когда Инге спускалась по крутой спиральной дороге, ведущей из замка в деревню, у нее сильно кружилась голова – то ли от голода, то ли от огорчения. Но все-таки она сообразила, что, если Марта не пришла сама и не прислала Клауса предупредить, она вполне могла затеять какую-то пакость – в последние дни в воздухе и впрямь висело предчувствие грозы. Марта перестала приходить на кухню побаловать себя кофе, а демонстративно пила собственный, который привозила с собой в голубом пластмассовом термосе.

А вчера, когда Клаус зашел на кухню съесть предложенный ему Инге бутерброд с колбасой, она ворвалась вслед за ним и туманно объявила, что не позволит, чтобы всякие ведьмы насылали свои злые чары на ее ребенка. Поскольку Клаус продолжал невозмутимо жевать, Марта вырвала у него бутерброд и стала читать вслух надписи на этикетках Ингиной коллекции целебных трав. Хоть почти все эти этикетки Марта отлично знала, так как она не раз помогала Инге готовить разные снадобья для себя и для Клауса, она нарочно искажала имена трав, риторически вопрошая при этом, чем именно посыпает Инге бутерброды ее сына и что подмешивает в кофе самой Марте для достижения своих злокозненных колдовских целей. Клаус захныкал и попытался отобрать у матери свой бутерброд. Он был куда сильнее ее, но она дала ему

затрещину, бросила бутерброд в мусорное ведро и, хлопнув дверью, выбежала из кухни, выкрикивая что-то нечленораздельное о ведьмах, которых пора сжигать на кострах. Клаус хотел было вытащить свой бутерброд из ведра, но у Инге от этого спектакля вдруг разболелась голова, и она велела Клаусу убираться из ее кухни.

Вспоминая вчерашний скандал, Инге решила, что не стоит в «Губертусе» начинать с прямых расспросов. Поэтому, когда, войдя в кабачок, она увидела Клауса, то сделала вид, что не замечает его, а просто попросила у Эльзы чашку кофе.

Горячий кофе прояснил ей мозги, а заявление Клауса о забастовке поставило все на свои места. Чудно, замечательно – хоть вешайся! Теперь оставалось только найти выход из безвыходного положения. Мозг ее напряженно метался в поисках какого-нибудь мало-мальски приемлемого решения – она так бы и простояла весь вечер с чашкой в руке, если бы вой автомата не вывел ее из оцепенения. Она вздрогнула, уронила чашку и только тогда заметила незнакомца.

Сначала его руки – стройные загорелые кисти, крепкие ладони и длинные сильные пальцы со странными треугольными ногтями: вершина каждого треугольника была обращена к запястью, а основание его замыкало конец пальца. Треугольники ногтей были слишком маленькие для таких крупных рук, и потому казалось, что они касаются предметов с какой-то особой кошачьей нежностью, будто часть ногтя была временно втянута вовнутрь. Зачарованная ловкостью, с которой эти пальцы открыли панель автомата и освободили застрявшую пуговицу, Инге не сразу поглядела на лицо их владельца. Лицо было им под стать: очень нездешнее, без единой прямой линии – словно все его черты были умело вырезаны из разных частей туго натянутого лука.

Пока она разглядывала незнакомца, за ее спиной заплакал Клаус, громко всхлипывая и шмыгая носом. Первым порывом ее была жалость, она хотела было утешить беднягу и дать ему его пять марок, но благоразумно сдержалась: в сложившейся ситуации нельзя было давать его вздорной мамаше никакого повода для продолжения боевых действий.

Подползла на коленях Эльза с тряпкой в руках и начала усердно вытирать кофейную лужу у ее ног. Она наклонилась, чтобы помочь Эльзе подобрать осколки разбитой чашки, и услышала голос незнакомца:

– Хватит плакать, парень! Бери деньги и беги играть!

Когда она подняла голову, Клаус уже стоял возле автомата, сияя блаженной улыбкой, а незнакомец, сильно хромя, шел к выходу. Он открыл дверь – небо за дверью полыхнуло голубым разрядом, и через секунду загрохотал гром. Как только он вышел, все заговорили хором.

– Италияшка! – объявила Эльза.

– Никакой он не италияшка! – Вальтер никогда не соглашался с Эльзой: если бы она сказала, что бог есть, он тут же заявил бы, что бога нет.

– А какая у него машина? – спросил Гейнц, как всегда – реалист.

– У него нет машины. Он спустился на парашюте, – объявил Клаус и вдохнул воздух, словно собирался добавить что-то еще, но вдруг запнулся и стал испуганно отступать к двери.

– Это ж надо, что этот идиот может придумать! – воскликнула Эльза и замахнулась на Клауса мокрой тряпкой. Клаус внезапно обиделся:

– Ну, ладно, может, он пришел пешком, – сказал он. – А то чего бы он был такой мокрый? – и все усталились на него, пораженные здравым смыслом его слов.

– А раз он пришел пешком, значит, у него нет машины, – заключил Клаус, гордясь тем, что привлек всеобщее внимание.

Инге положила деньги за кофе на стойку и быстро вышла под дождь, думая одновременно о глупости Марты, о неразрешимости завтрашнего дня, о смуглых пальцах незнакомца и о многом другом, что непросто было выразить словами. Она сама не понимала, как ее голова вмещала враз все это множество несовместимых и часто вовсе не пересекающихся мыслей.

На улице было совершенно темно, если не считать крошечных островков розовато-желтого света, падающего на тротуар из окон кабачка и тут же смываемого обильными потоками дождя. Дождь стоял вокруг плотной стеной, его равномерный шум поглощал все остальные звуки.

Небо над головой с грохотом расколосось полярно-голубой вспышкой и выхватило на миг из темноты клубок сцепившихся в смертельной схватке тел – человеческого и звериного, серебристо-шерстяного. Они промелькнули у нее перед глазами, словно кадр из ночного кошмара, и исчезли в черном безмолвии монотонно падающего дождя.

– Ральф! – закричала она на бегу, оскальзываясь на мокрых ступеньках. – Стоп! Прекрати немедленно!

Ей сейчас не хватало только, чтобы голодный Ральф загрыз этого красивого итальянца!

Однако в свете новой вспышки молнии ей открылась картина вовсе неправдоподобная – итальянец умудрился повалить Ральфа на землю и сидел на нем верхом, зажимая его шею тисками сведенных вместе локтей. Инге остановилась над ними и снова повторила:

– Ральф! Стоп!

Тело Ральфа обмякло, и он коротко взвизгнул то ли от боли, то ли от обиды, и она сказала незнакомцу:

– Можно его отпустить.

Незнакомец разжал руки, с трудом поднялся, пошатнулся и схватился за открытую дверцу машины, чтобы не упасть в грязь. Только теперь Инге заметила, что распахнута дверца не пассажирская, а водительская, и спросила напрямик:

– Вы что – собирались угнать мою машину?

В горле у парня что-то вдруг заклокотало, и он безвольно сник на отворенной дверце, свесив руки и конвульсивно царапая мокрый металл ногтями растопыренных пальцев. К этому времени Ральф наконец встал на ноги и начал шумно отряхивать грязь с шерсти, разбрасывая ее во все стороны.

Не успев толком сообразить, что она делает, Инге перехватила тело незнакомца раньше, чем оно рухнуло на мокрый булыжник, и рывком опустила его на капот фургона. Голова его, правда, при этом гулко стукнулась о металл, однако Инге удалось удержать его от дальнейшего скольжения вниз. Инге нащупала его пульс – рука была горячая, но сердце билось ровно, хоть и часто.

Нужно было срочно решать, что с ним делать. Тащить его обратно в «Губертус» и вызывать «скорую помощь»? Ужас – разговоров потом не оберешься! Проще всего было бы, конечно, отвезти его к себе в замок и привести в чувство, а там уже поступать по обстоятельствам. Было только совершенно неясно, как ей одной удастся затолкать его бесчувственное тело в машину.

Инге попыталась приподнять его, но он тут же выскользнул из-под ее рук и начал скатываться с капота, так что ей с трудом удалось сохранить равновесие.

Она осторожно опустила его обратно на капот и мысль ее, ничего не находя, лихорадочно заметалась в поисках разумного выхода. Дверной проем кабачка вдруг озарился мгновенной желтой вспышкой, в центре которой, нелепо размахивая руками, плясала черная фигурка, и тут же погас. Темный силуэт скатился вниз по лестнице и медленно встал во весь рост, четко вырисовываясь на фоне освещенного окна. Вот он – выход!

– Клаус! – закричала Инге. – Иди сюда, помоги мне!

Клаус подошел, неловко оскальзываясь на мокрых булыжниках.

– Поддержи его за плечи, – скомандовала Инге, отворяя дверцы фургона, – и давай положим его внутрь.

Клаус, не отвечая, склонился над незнакомцем, пробежал пальцами по его лицу, словно проверяя что-то, и недоуменно прошептал:

– Значит, он все-таки разбился!

Инге некогда было выяснять, что он имел в виду, она крикнула:

– Поднимай его за плечи, быстро!

Кlaus, хоть и придурок, физически был вполне хорошо развит. Он послушно подхватил незнакомца под руки, Инге перехватила его ноги чуть повыше колен, и они, успешно маневрируя, умудрились втащить его в фургон. Пока они устраивали его длинное тело в узком пространстве фургона, он вдруг открыл глаза и внятно попросил:

– Не надо, мама, пожалуйста, мама, не надо!

Инге быстрым движением приподняла его голову, но не успела перехватить его взгляд: сквозь густые темные ресницы светились лишь белки закотившихся под надбровья глазных яблок. Нужно было срочно везти его в замок. Она соскочила с подножки и сказала:

– Спасибо, Klaus. Можешь идти домой.

Кlaus спрыгнул вслед за ней и схватил ее за рукав, пытаясь ей что-то рассказать, но она высвободила рукав и, не обращая внимания на Klaus, стала закрывать дверцы. Тут подошел Ральф и, тревожно приюхиваясь, сунул морду в фургон, Инге оттолкнула его и приказала:

– Ральф, место!

Ральф пружинисто вскочил в кабину. Инге села рядом и включила мотор, но прежде, чем отехать, поглядела на понурюю фигуру Klaus, который, сунув руки в карманы, шлепал по лужам в сторону деревни, и позвала:

– Садись в кабину, Klaus. Я довезу тебя до моста.

Кlaus втиснулся на сиденье рядом с Ральфом и начал поспешно плести какую-то несусветную чушь об отважном парашютисте, который у Klaus на глазах вырвался из вражеских рук и выпрыгнул из окна самолета. Не отвечая на вопрос Инге, как он сам выбрался из этого самолета, Klaus стал почему-то шепотом уверять ее, что он следил, как парашютист долго кружил над лесом, пока не приземлился возле «Губертуса». И хоть вошел он туда без парашюта, он, Klaus, сразу его узнал. Но он никому не сказал об этом, потому что это страшная тайна и Дитер-фашист убьет его, если узнает, что он проболтался.

Тут они подъехали к мосту через горный поток, за которым начинался подъем к замку. Инге остановила машину и велела Klausу идти домой. Klaus заупрямился было и хотел ехать с ней в замок, чтобы спросить у парашютиста, куда он спрятал свой парашют, так что Инге пришлось прикрикнуть на него и даже пригрозить Ральфом. Услышав свое имя, Ральф наострил уши и грозно зарычал. Klaus, конечно, его не боялся, но, как всегда, покорился и нехотя выбрался из кабины. Пересекая мост, Инге оглянулась и увидела, что он стоит под дождем и смотрит ей вслед. Интересно, что он сейчас видит – парашютиста, который кружит над лесом на мокром парашюте?

## Ури

Ури пытался вынырнуть из-под тяжелой черной волны, но не успел: за ней, накрывая его с головой, накатывала вторая, а за ней равномерно – третья, четвертая, пятая. Он вцепился в холодные поручни, но не удержался – его понесло в пустоту, и он понял, что его снова выбросили из окна идущего на полной скорости поезда. Тело его напряглось с привычным автоматизмом, готовясь принять удар летящей навстречу земли, но руки его уперлись в пустоту и чья-то настойчивая ладонь мягко вернула его назад на упругие подушки, подпирающие спину. Ощущение полета продлилось еще миг, и тогда он решился открыть глаза, готовый ко всему. Но все-таки не к тому, что он увидел. Прямо на него надвигалась пышущая пламенем драконья пасть, над ней в смутном свете робко выползшей из-за туч луны высоко в небо взмывала красная зубчатая стена.

Какой-то оставшийся незамутненным осколок сознания четко поставил диагноз: «Бред» – и под ложечкой засосало детской тоской по домашнему уюту школьного гриппа – по теплой постели и сладкому чаю. Драконья морда сдвинулась влево, за нею открылся смутно освещенный дверной проем, полого уходящий вниз под стену. И его понесло в этот проем, в полную каких-то странных шорохов белесую полутьму. Он попытался уцепиться за скользнувший мимо дверной косяк, но промахнулся и, окончательно поверив, что это бред, перестал сопротивляться.

## Инге

Конечно, если бы не кресло на колесиках, в котором Инге возила Отто в больницу на процедуры, ей бы никогда не удалось вытащить парашютиста из фургона и втащить его в замок. Но даже и с креслом ей пришлось хорошо помаяться – парашютист был парень крупный и твердые колени его ни за что не хотели сгибаться по форме кресла. Пока Инге усаживала его и выкатывала по мосткам в нижний коридор, ведущий в кухню, он на миг открыл глаза и, чуть не опрокинув кресло, попытался вскочить. Ноги его тут же подкосились, он упал на сиденье и быстро забормотал на незнакомом ей даже на слух языке. Никакой он был не итальянец! Вслушиваясь в странный, почти орлиный клекот его речи, Инге спрашивала себя, следовало ли ей впутываться в это дело.

Доводы разума можно было пересчитать по пальцам. Она не могла обратиться за помощью в «Губертус», где наверняка в тот момент обсуждали, как здорово насолила ей Марта своей забастовкой. Бросить его под дождем она тоже не могла, а, учитывая роль Ральфа в их стычке, в больницу везти его было бы непредусмотрительно. Кроме того, ей надо было срочно вернуться домой, чтобы залатать прореху, проделанную в ее хозяйстве дурацкой забастовкой Марты.

Но все это были отговорки: ведь противоположных доводов было не меньше, и они тоже были вполне убедительны, то есть выходило так на так. И она не могла обмануть сама себя – дело было не в гуманизме, не в ответственности и не в предусмотрительности. Дело было в минутном головокружении, которое качнуло ее, когда длинные пальцы незнакомца с кошачьей нежностью коснулись проводов в брюхе взбесившегося автомата. В тот миг она почти физически ощутила, как сладко могли бы эти пальцы коснуться ее кожи.

Это было, конечно, чистое безумие – так вспыхнуть при взгляде на совершенного чужака, с которым она и слова не сказала, тем более что со времени исчезновения Карла она словно одеревянела и навсегда, казалось, запретила себе искушение физической близости. А минутное ее головокружение было несомненным знаком такого искушения, даже соблазна, которому трудно было противостоять. Тем более что она уже вкатывала кресло с парашютистом в свою кухню.

Инге быстро поставила воду на огонь и подошла к шкафчику с травами и снадобьями. Прищурясь, она секунду разглядывала готическую вязь ярлыков, а затем решительно взяла с одной полки пузатую бутылку с лилово-розовой жидкостью, а с другой – высокий темно-зеленый флакон с притертой пробкой.

Ловким привычным движением она отмерила сто грамм жидкости из бутылки в серебряный ковш, который бережно опустила в закипающую в кастрюле на огне воду. Затем начала медленно, считая до двенадцати, вливать в ковш пахучее зелье из флакона. Каждая упавшая в ковш капля вызывала там маленькую огненную вспышку, прежде чем с шипением раствориться в быстро темнеющем вареве. Помешивая серебряной ложкой густую душистую смесь, Инге вспомнила вчерашние проклятия Марты и непроизвольно вздрогнула. За такие дела пару веков назад и впрямь могли бы сжечь! Она погасила огонь под кастрюлей и перевернула стоящие у плиты песочные часы.

Пока часы безмолвно переливали время из верхнего конуса в нижний, Инге расшнуровала и сняла мокрые ботинки парашютиста, а вместо них натянула ему на ноги толстые шерстяные носки Отто. Затем она зачерпнула ложку напитка из ковша и попробовала осторожно влить его в рот парашютиста, но тот сцепил зубы с такой силой, что ей это не удалось сделать. Она начала массировать его круто сведенные челюсти, ощущая необъяснимую радость от каждого электрического импульса, пробегающего между его кожей и кончиками ее пальцев. Подбородок его дрогнул под умелыми касаниями ее ладоней, и он слабо застонал, снимая часть

напряжения со сведенного судорогой рта. Она проворно всунула ложку с напитком в едва приоткрывшуюся щель между зубами и стала осторожно вливать в него каплю за каплей, поддерживая его голову как можно выше, чтобы он не захлебнулся. Вторая ложка пошла легче, а третью он уже проглотил сам, все еще не открывая глаз. Тогда она перелила содержимое ковша в стакан и поднесла к его губам. Он выпил все до дна жадными глотками, закашлялся, и веки его дрогнули, приоткрываясь чуть-чуть. Он мутно глянул на нее сквозь узенькие щелки и сказал внятно, на этот раз по-немецки:

– Не плачь, дорогая старушка, не надо. Я еще вернусь и все будет в порядке.

Говорил он чисто, как человек, прочитавший много книг, но с каким-то еле уловимым акцентом. Пожалуй, это даже нельзя было назвать акцентом – скорее, в его речи звучал чужой, непривычный распев. Произнеся эти странные слова, он снова закрыл глаза и отключился. Но теперь, слава богу, это был уже не обморок, а лихорадочный сон.

Инге потрогала ладонью его лоб – он весь горел, тридцать девять и пять, не меньше. И немудрено – свитер и рубаха на нем промокли до нитки. Инге стянула с него мокрую одежду – господи, какие плечи! – завернула его в махровый халат, поверх которого набросила пуховое одеяло и быстро вышла. В кухне было тепло и можно было оставить его так на полчаса. Пора было наконец накормить свиней.

## Отто

С минуты отъезда Инге Отто ждал ее возвращения. Сперва он просто хотел, чтобы она сидела рядом с ним возле телевизора, дышала, двигалась, подавала ему чай и грелку, а он бы ее любил и радовался, что она такая красивая, высокая и независимая. Но постепенно его любовь стала привычно переходить в ненависть, и чем дольше длилась мука его ожидания, тем больше он ненавидел дочь. Как всегда в такие минуты, именно ее красота и независимость становились ему особенно непереносимы – его воображение рисовало ему ужасные картины ее походов неизвестно где и неизвестно с кем. Теперь он уже ждал ее, чтобы наказать и уязвить побольнее.

Он с удовольствием смаковал все прошлые случаи, когда ему удалось сделать ей больно. А случаев таких было немало – было! было! – хоть ему это всякий раз давалось непросто: вся правая сторона его тела была парализована полностью, а кисть левой, частично подвижной руки, оторвало снарядом во Вторую мировую войну в танковом бою за гиблый городишко с косноязычным названием Курск. Это название многократно выкрикивали вороны, кружась над трупами после битвы: «Кур-р-с! Кур-р-с! Кур-р-с!» Отто, истекая кровью, слушал их крики из-под нависшей над ним гусеницы подбитого русского танка и думал, что будет, когда его найдут русские солдаты, отрывистая переключка которых не могла заглушить надсадного карканья пирующих ворон.

Ему тогда повезло, и русские солдаты его не заметили. Когда они ушли, унося своих раненых и гоня перед собой пленных, Отто исхитрился зубами затянуть обрывки рукава над зияющей дырой повыше запястья и пополз в противоположную сторону, то и дело теряя сознание. Он так и не узнал, кто и где его подобрал, но когда он через пару дней очнулся в немецком полевом госпитале, на месте кисти левой руки у него была туго забинтованная культяпка. К этой культяпке ему со временем приладили хитроумный протез, напоминающий двузубую вилку, с которым он научился довольно ловко управляться. Так что много лет он прожил неплохо и без руки, пока его не разбил паралич и он не попал в полную зависимость от своей слишком красивой и независимой дочери, у которой на уме были одни только мужики.

Отто уже издали услышал, как взрывает фургон, взбираясь по крутой дороге к замку, – за последние годы его слух, натренированный долгими ожиданиями, необычайно обострился. Он откатился к окну и стал следить, как Инге паркует фургон. Его комнаты были расположены в полуподвальном этаже – для удобства, чтобы он мог сам вкатывать и выкатывать кресло во двор, – и потому он мог видеть только колеса и ноги.

Что-то явно было не в порядке. Вместо того чтобы поставить фургон в гараж – а это следовало бы сделать сразу в такую дождливую ночь, – Инге подкатила задним ходом к его, Отто, специальному входу. Кузов фургона заслонял Отто дверь, он видел только, как ноги дочери в высоких белых сапогах прошагали вдоль колес фургона в сторону входа. Отто думал, что она первым делом зайдет проведать его и приготовился встретить ее гневными упреками, как она того заслуживала, но она к нему не зашла вовсе. Погрохотав чем-то железным в коридоре, она снова появилась во дворе и скрылась за фургоном. Ноги в белых сапогах мелькали так быстро, будто она отбивала чечетку, но толком рассмотреть, что она там делает, Отто не мог, и от этого раздражение его стало совершенно невыносимым. Он больше не мог сдерживать свой гнев и начал изо всех сил колотить своей стальной лапой в рельс.

Дочь наверняка не могла его не слышать, однако она не обратила на его призывы никакого внимания, а продолжала свои странные пляски вокруг фургона. Рядом с ее сапогами толклись по лужам серебристые лапы Ральфа. Тяжелая зависть к Ральфу сдавила горло Отто, и он прикрыл глаза, обессиленный и покинутый – кто угодно, даже пес, имел право на участие в ее делах, но только не он. Когда он снова открыл глаза, и ноги, и лапы исчезли из-под фургона, который так и остался торчать перед его окнами, загораживая ему вид на все ночное про-

странство, залитое дождем. Отто подождал еще немного, надеясь, что теперь она найдет время заглянуть к нему. Он отъехал от окна и невидящими глазами уставился на экран телевизора, на котором по случаю позднего часа давно уже мерцала неподвижная цветная заставка.

Прошло еще сколько-то времени, он не мог сказать – сколько, а она так и не зашла. Тогда Отто решил действовать самостоятельно. Он направил кресло к выходу. Он не очень любил выезжать из своих комнат без посторонней помощи, потому что на это уходили все его силы, но сейчас выбора не было.

Необходимо было узнать, что у нее там стряслось. И если понадобится, принимать меры.

## Ури

Конечно, это был бред. Над головой высоко-высоко смыкался обрамленный черными балками красный кирпичный свод, напоминающий церковный. Но все же лежал он не в церкви, а в том отделе преисподней, где туши грешников разделяют для обжарки. Все инструменты, необходимые для освеживания и расчленения грешных тел, были милостиво представлены ему для обозрения на противоположной стене: начищенные до блеска, они поражали разнообразием: топоры, топорики, секачи, секачики, ножи, ножики, ножищи, трезубцы, двузубцы, пилки, пилочки, пилы, ковши, ковшики, черпалки – для крови, конечно. Ури попытался их пересчитать, чтобы собраться с мыслями, но цифры в голове разбегались и не сходились, а уж о мыслях и говорить было нечего. Мысли всплывали, барахтались на поверхности сознания и тут же тонули, как мусор в сточной канаве после сильного ливня.

За высокими стрельчатыми окнами царил беспросветная тьма. И вдруг в черной заоконной пустоте возникла косматая голова лешего Губертуса, не такая огромная, как на стене кабачка, но достаточно грозная – прижавшись бородатым лицом к стеклу, леший внимательно и недобро разглядывал Ури.

Ури с трудом повернул голову в сторону окна, и Губертус тут же исчез, оставив после себя на оконном стекле переливчатый узор дождевых капель.

Значит, все-таки бред.

Ури приподнялся на локте и огляделся, с трудом преодолевая качнувшую его назад дурноту. Черт его знает, а может, все-таки не бред? Уж очень реалистично выглядела эта огромная кухня с круглым столом на резных ножках в центре и с изразцовой печью в углу. Стену, на которой были экспонированы режущие орудия, снизу подпирала облицованная бордовым гранитом буфетная стойка, сплошь уставленная современными кухонными агрегатами.

Ури потрогал пальцами наброшенный на его плечи черный махровый халат и порывшись своей слабо мерцающей памяти, но никакой логической связи между собой, этой кухней и этим халатом не нашел. Тогда он ухватился за поручни кресла и попытался встать. Пронзительная боль в правой ноге швырнула бы его на пол, если бы у него не были такие сильные руки. С трудом удержав равновесие, он откинулся назад на подушки кресла, которое под натиском его тела сдвинулось с места и, поскрипывая колесиками, покатило к резным двустворчатым дверям. После этого пируэта его охватила такая парализующая слабость, что он почувствовал себя совершенно беззащитным и закрыл глаза в предчувствии неминуемого удара большой ногой о дверь. Но в лицо ему дохнул порыв холодного ветра, и кресло внезапно остановилось.

Он с трудом разлепил свинцово отяжелевшие веки и тут же поспешно прикрыл их: упершись в кресло длинной ногой в белом сапоге, в темном дверном проеме стояла мать. Не сегодняшняя, раздражающая и покорная, а давняя, почти забытая, всегда ускользавшая от него к другим.

Чужой, очень немецкий, голос произнес властно:

– Куда это вы разогнались, господин парашютист?

И кресло, все так же поскрипывая колесиками, покатило обратно в угол к изразцовой печи. Ури опять разлепил веки и глянул в склонившееся над ним лицо – ничего похожего на мать в нем не было, кроме тяжелой, цвета меда, обрамляющей волны волос. Глаза под упавшими на лоб прядями были большими и плоскими, как озера в степи, белки их, не закругляясь, были вправлены под надбровья вровень с глазницами. Дома у него таких глаз не носили – там глазные яблоки у всех были круглые, как и положено яблокам.

Лицо отодвинулось и исчезло. Так поразившая его мгновенная иллюзия сходства шла от ног в высоких белых сапогах. Белые сапоги сделали шаг влево. Ури с трудом повернулся всем телом вслед за ними, и взгляд его уперся в резную горку для хрусталя – там, в сумеречном

застекольном пространстве, стояли ряды разноцветных прозрачных бутылей и переливчатых темных флаконов. Рука в синем комбинезонном рукаве плеснула в стакан немного воды из чайника, потом взяла с полки флакон, вынула из него граненую пробку и перевернула над стаканом. Из узкого горлышка начали сочиться тяжелые лиловые капли.

Рядом с ногами бесшумно появился недружелюбный серебристый зверь, при виде которого Ури сразу все вспомнил: и фургон у дверей кабачка, и неудачно открытую им дверцу фургона, и схватку на мокрых булыжниках. И билет, срок действия которого кончился в семь тридцать. И последние две марки, которые он оставил на стойке. И владелицу белых сапог и властного голоса, только тогда вместо синего комбинезона на ней был туго перетянутый поясом белый плащ. И главное – мать, которая (о ужас!) будет напрасно встречать его утром в аэропорту Бен-Гурион.

– Который час? – спросил Ури хрипло, не узнавая собственный голос.

– Какая разница? – ответила женщина, сосредоточенно считая капли. – На свой самолет вы все равно уже опоздали.

– Как опоздал? Который час? – повторил Ури.

– Без двадцати четыре. А ваш самолет в семь, так что шанса успеть нет.

– Откуда вы знаете про самолет? – ошетинился Ури.

– По линиям ладони, – усмехнулась она, аккуратно возвращая флакон на место и снимая с полки другой. – А кроме того, пока вы тут метались в бреду, Ури, вы всю свою жизнь успели мне рассказать.

И опять принялась считать капли, на этот раз оранжево-желтые.

– И имя свое я вам тоже сказал? – не поверил Ури, тщетно пытаясь сообразить, как он тут оказался.

В ответ она приложила палец к губам, опустила флакон на стол, ловко перевернула стоящие рядом крошечные песочные часы и встряхнула содержимое стакана. Смесь вспузырилась и начала быстро краснеть. Ури заметил, что губы женщины шевелятся в такт взмахам стакана и подумал мимолетно: ворожит она, что ли? Словно в подтверждение этого предположения она, дождавшись, пока нижний конус часов наполнился до первой черты, обхватила стакан с двух сторон и начала бережно крутить его в ладонях, словно согревая. Губы ее по-прежнему размеренно что-то шептали, взгляд был неотрывно устремлен на пузырящуюся в стакане жидкость, отчего в плоских синих зеркалах ее глаз вспыхивали и гасли малиновые искры.

Когда нижний конус часов наполнился до второй черты, она сняла с крючка на стене длинную серебряную ложку странной формы и склонилась над Ури:

– А теперь надо выпить это до дна. Можно не спеша.

Ури с опаской поглядел на густой темно-красный напиток:

– Я надеюсь, это не кровь невинных младенцев?

Женщина засмеялась:

– Неужели я выгляжу такой злодейкой? – она зачерпнула ложку жидкости и поднесла к губам Ури. – Пейте!

Может, злодейкой она и не выглядела, но ложку-то выбрала из знакомой коллекции пыточных орудий. Поэтому Ури заупрямился и отвел ложку в сторону подальше от себя:

– Но я не знаю, что это. И вообще – кто вы и как я сюда попал?

– Я – Инге, мы это уже выясняли. Вы что, ничего не помните? – она с досадой прикусила губу, раздраженно плюхнула напиток из ложки назад в стакан и стала стягивать с себя сапоги. Бросив сапоги под стол, она, оставляя мокрые следы на лакированных досках пола, прошла к буфету, сняла с полки фарфоровый чайник и начала заваривать чай. Эти лакированные доски мимолетно зарегистрировались в сознании Ури знаком дополнительной опасности: ему в жизни не приходилось видеть лакированный деревянный пол в кухне. Надо было срочно уносить ноги из этой ловушки.

– Где моя одежда, Инге? – спросил он, намеренно делая ударение на ее имени, словно надеясь этим ее разоблачить, хоть он сам не знал в чем.

– В сушке, Ури. – Она тоже сделала намеренное ударение на его имени, явно пытаясь заслужить его доверие. – А что?

– Я, пожалуй, попробовал бы добраться до Мюнхена.

– Мне кажется, вы уже пробовали встать, Ури. – Она налила себе чай в цветную кружку и стала жадно пить. – И ничего не вышло, правда?

– Вы что, ясновидящая?

Она пожала плечами:

– А как еще вы могли бы с такой скоростью раскатить кресло мне навстречу? С вашей поврежденной ногой?

– А что с моей ногой? – испугался он.

– Сейчас мы это выясним.

Она поставила пустую кружку на стол и бесцеремонно подняла сильной рукой его правую ногу, на которой он с удивлением обнаружил чужой шерстяной носок. Упершись в его колено одной рукой, она стала другой бережно наклонять его ступню носком вперед, пока острая боль не перехватила ему дыхание.

– Вывих в щиколотке, как я и думала, – объявила она, – придется потерпеть.

И, не дав ему времени на возражения, она умело рванула его ступню на себя, слегка выворачивая ее наружу неуловимым спиральным движением. В глазах у него потемнело, в щиколотке что-то хрустнуло, и ему на миг показалось, что ступня его отделилась от остальной ноги. И сразу же наступило облегчение – вывихнутая нога больше не беспокоила, будто перестала существовать.

– Вот и все, – сказала женщина. – Завтра вы сможете пешком идти в Мюнхен. Если удастся сбить вам температуру, – ее прохладная ладонь мгновенно коснулась его лба и упорхнула. – Ну и жар у вас: тридцать девять и пять, не меньше.

И она опять поднесла к его губам свой кровавый напиток, на этот раз уже без ложки.

– Лучше пейте залпом, потому что горько.

Готовый сдать, он спросил, не настаивая и без подвоха, а просто так, чтобы оставить за собой последнее слово:

– Вы что – врач?

– Нет, – устало усмехнулась она. – Я – местная ведьма. Два века назад меня бы за такое сожгли на костре.

## Клаус

Когда я проснулся утром, дождь уже не шел. Я не стал одеваться, а пошел на кухню посмотреть, что мамка приготовила сегодня на завтрак. Но там не было ни булочек, ни колбасы, а кофейная машина стояла пустая – без воды и без кофе. И тут я вспомнил, что мамка уехала ночевать в город к тете Луизе, а меня с собой не взяла.

Ну, раз мамки не было, я мог не умываться и не принимать душ. Колбасу я нашел в холодильнике, а с кофейной машиной я научился управляться сам с тех пор, как мамка начала часто ночевать в городе без меня. После завтрака мне очень захотелось поехать в замок и узнать, что фрау Инге сделала с парашютистом. Я точно знал, что она увезла его в своем фургоне – ведь я сам помог ей втащить его туда.

По дороге я думал про парашютиста – как я спрошу его про парашют, если увижу его в замке. И как он мне расскажет, куда он его спрятал, и как я пойду туда и найду. И принесу его фрау Инге, а она удивится и скажет:

– Какой ты молодец, Клаус! А я тебе не верила.

И может, даже даст мне те пять марок для автомата, которые я не получил из-за мамкиной забастовки.

И тут я остановился как вкопанный на крутом подъеме – ведь я совсем забыл про забастовку! Ведь раз у нас забастовка, мне нельзя ехать в замок! А замок уже поднимался прямо передо мной – отсюда с поворота можно было видеть сразу все три его башни – две старинные, низкие, разрушенные, с дырами вместо окон, и одну целую, высокую, в которой можно было жить. Если подъехать к замку ближе, то старые башни увидеть уже нельзя – их закрывает высокая зубчатая стена, перед которой много веков назад был вырыт глубокий ров, чтобы враги не могли ворваться в ворота. С того места, где я стоял, можно было даже разглядеть старинную картинку, выложенную мелкими камешками над парадным входом. На картинке пять рыцарей на конях барахтались в мыльной пене, которая сливалась на них сверху из какой-то не видной нам стиральной машины.

Я знал, что мне не следует заходить в замок, но все же подъехал совсем близко, проехал через висячий мост надо рвом, остановился у ворот и посмотрел вниз, в сторону деревни. Мамки нигде не было видно, а значит, и она не могла меня видеть, так что я отпер ворота своим ключом и вкатил велосипед во двор, хоть все время думал о том, что мамка не велела мне приходить сегодня сюда помогать фрау Инге.

– Пусть она обойдется без нас! Где она еще найдет таких дураков, чтобы вычищали говно ее свиней за такие гроши? – кричала мамка, пока примеряла свое новое платье, которое делало ее ноги еще короче, чем они были на самом деле. Но мамка этого не замечала – она себе очень нравилась в этом платье, она все одергивала его на заднице и повторяла:

– Какую шикарную фигуру оно мне делает, правда?

И опять возвращалась к фрау Инге:

– Она бы умерла от зависти, если бы она меня сейчас увидела.

Я почему-то не думаю, что фрау Инге умерла бы от зависти, если бы она увидела мамку в любом платье, но вот мамка точно умерла бы от злости, если бы увидела меня в замке, когда у нее забастовка. Никто меня еще не заметил, кроме Ральфа, который помахал мне хвостом, но навстречу не пошел. Так что я еще мог развернуться, нажать на педали и уехать домой. Но мне очень не хотелось уезжать, не повидав парашютиста, и я подумал, что вполне мог бы забыть про забастовку. Ведь мамка сама часто говорит, что у меня голова, как дырявая корзина. Вот я и забуду – пусть знает, как говорить про меня такое!

В замке было тихо, все, наверно, еще спали, и я пошел в свинарник. Свиньи очень обрадовались, когда меня увидели. Они всем скопом бросились мне навстречу и самые смелые

стали тереться об мои ноги. Они так толкались, стараясь протиснуться ко мне поближе, что чуть не опрокинули меня в грязь. Я почесал за ухом серого борова Ганса, которого я сам вырастил из маленького розового поросеночка, а потом пошел в кормовую и принялся готовить им еду, а Ганс увязался за мной. Он, наверно, здорово соскучился по мне за вчерашний день, а может, даже обиделся на меня, но я ничего не мог ему объяснить, он бы все равно не понял про забастовку.

Пока я смешивал в миксере отруби и витамины, я рассказывал Гансу про парашютиста. Ему можно было рассказать всю правду. И про поезд, и про окно, и про знаменитого тренера Эриха Кройца – уж он точно не мог ничего разболтать Дитеру-фашисту. Он мог только хрюкать и просить меня еще и еще почесать ему спину. У него спина всегда чешется, но он ничего не может с этим поделать, кроме как тереться спиной о косяк двери или об стенку.

Ну, я почесал его, разлил смесь по кормушкам и покатыл их в свинарник. И вдруг я увидел фрау Инге. Она стояла возле крана в своем синем комбинезоне со шлангом в руке, но воду не открывала, потому что слушала мой рассказ. Я остановился на пороге и уставился на нее. Волосы ее были перехвачены на лбу плотной синей повязкой, и оттого она была сегодня особенно красивая.

Мне очень хотелось узнать, как много она успела подслушать из того, что я рассказал Гансу, но она не подала виду, что вообще что-то слышала, а улыбнулась и спросила:

– Что, забастовка уже кончилась?

Надо же – ведь у нас забастовка! А я опять про нее забыл и не знал, что сказать в ответ. Фрау Инге поняла это по моему лицу и спросила:

– Мать не ночевала дома, да?

Я молча кивнул и покатыл кормушки к свиньям, которые при виде еды подняли ужасный шум.

– Она небось опять отправилась на свои всемогущие радения?

Я ни слова не понял из того, что она сказала, но снова молча кивнул, чтобы не связываться. Свиньи с радостным визгом столпились у кормушек, а фрау Инге включила наконец воду и направила сильную струю из шланга вниз, чтобы смыть грязь, которая собралась на полу за вчерашний день. Обычно это делает мамка, но сегодня мамка не пришла и мне тоже не велела приходить.

Представив себе, как она рассердится, когда узнает, что я кормил тут свиней, я стал пятиться к выходу и, конечно, зацепился ботинком за шланг, я всегда за все зацепляюсь. Шланг взвился как живой и вырвался из крана, окатив меня и фрау Инге холодным душем. Ну и хорошо, я ведь сегодня утром душ не принял, а теперь это стало не важно. Я испугался, что фрау Инге сейчас на меня рассердится, но она только засмеялась и сказала, стряхивая капли воды с волос:

– Да не бойся ты ее, я не стану ей рассказывать, что ты кормил свиней.

Откуда она узнала, что я боюсь мамку? Может, она и вправду ведьма? Потому что она добавила:

– Ладно, теперь ты можешь пойти к Отто и помочь ему завтракать. Ведь ты, наверно, хочешь рассказать ему про парашютиста?

Ну, как она догадалась, что мне хотелось поговорить с Отто? Я люблю с ним разговаривать, не так, как с Гансом, конечно, Ганс – мой друг, но больше, чем с другими: ведь он не может обругать меня и назвать идиотом. Или выдать меня Дитеру-фашисту. Разве только если у Дитера хватит терпения выслушать, как Отто отстукивает ему мой рассказ своей стальной лапой. А на это ни у кого никогда не хватает терпения, даже у меня, тем более что я не все его стуки понимаю. Я понимаю только что-нибудь простое – как вроде, если он просит подать ему горшок, или дать ему попить, или включить свет. Фрау Инге долго меня учила, а я никак не мог научиться, но она очень упрямая, фрау Инге. Она хоть и добрая, не то, что мамка, – та просто

зверь, когда сердится, – но она тоже умеет заставлять. Особенно если у нее плохое настроение. А последнее время у нее всегда плохое настроение. Тут я вспомнил, как она только что смеялась, когда стряхивала капли воды со своих мокрых волос, и мне показалось, что сегодня настроение у нее было гораздо лучше, чем все прошлые дни, – с тех пор, как сбежал Карл.

Я сказал про это Отто, когда кормил его завтраком, а он почему-то так страшно на меня за это рассердился, что стал сбрасывать тарелки и чашки со столика, который я прикручиваю к его креслу для еды. Тут из кухни ворвалась дневная сиделка, фрау Штрайх, она не любит, когда Отто бузит и сталкивает на пол все, до чего может дотянуться своей лапой. Она начинает кудахтать, как курица, и быстро-быстро подбирать сброшенные вещи, которые Отто тут же сбрасывает назад. Я мог бы его успокоить – меня он иногда слушается, если я чешу ему спину, как Гансу, – но не успел, потому что услышал мамкины крики.

Она вопила так громко, что мы могли слышать каждое ее слово. Хоть лучше было бы ее совсем не слышать. Она орала:

– Я требую, чтобы мне немедленно вернули моего сына!

То есть меня.

Услышав мамкин голос, Отто перестал сбрасывать тарелки со столика, а фрау Штрайх подняла свои выщипанные бровки выше своих больших очков и стала укоризненно качать головой, будто я был в чем-то виноват.

– А если мне его не вернут, я вызову полицию! – надрывалась мамка, и можно было подумать, что я лежу связанным где-то в подвале с кляпом во рту, как в телевизоре.

Я подвез Отто к окну, и мы стали смотреть, что делается во дворе. Мамка в своем новом вишневом пальто стояла подбоченясь перед фрау Инге на пороге свинарника, делая вид, что фрау Инге не пускает ее войти вовнутрь. Но я знаю свою мамку: на самом деле она вовсе не хотела входить в свинарник, чтобы не испачкать свиным говном свои модные сапоги из белой замши. Дома она каждый раз, снимая эти сапоги, заворачивает их в папиросную бумагу и прячет в специальной коробке на верхнюю полку шифоньера.

Фрау Штрайх стала подталкивать меня к выходу – она, наверно, очень боялась, что мамка и вправду вызовет полицию. Но я не хотел выходить. Мне было интересно посмотреть, войдет мамка в конце концов в свинарник или нет. Тут Отто стал ржать как ненормальный, хоть, по моему, ничего смешного там не было. Он так хохотал, что опять сбросил со столика все, что фрау Штрайх успела туда поставить. И тогда фрау Штрайх заплакала. Она плакала очень тихо, даже не всхлипывая, только большие прозрачные слезы вытекали из-под ее очков на щеки и стекали вниз, пока она их не слизывала языком.

Я больше не мог вынести все это. Мне совсем не хотелось встречаться с мамкой, но делать было нечего. Я надел куртку и вышел во двор. Увидев меня, мамка завопила еще громче – наверно, она до сих пор не была уверена, что я и вправду в замке.

– Ага, вот он! – она показывала на меня пальцем, хоть сама всегда твердила мне, что показывать на человека пальцем неприлично. – А ты говоришь, что его тут нет!

Это ужасно смешно, что мамка и фрау Инге говорят друг другу «ты», потому что они когда-то вместе учились в школе. И смешно, что они вместе учились в школе, и фрау Инге вышла такая ученая, а мамка совсем наоборот.

– Я сказала, что его нет в свинарнике, – пожалала плечами фрау Инге.

– Какая разница, за кем он выносит говно, за свиньями или за Отто? Мы с ним бастуем, и нечего ему сюда таскаться!

Фрау Инге подняла руку, чтобы поправить повязку на волосах, и я увидел, что она все еще держит шланг.

– Что ж, можешь его отсюда забирать. Да поживее, мне надо работать!

С этими словами она повернулась и собралась пойти обратно в свинарник, но вы не знаете мою мамку. От нее нельзя так просто отделаться – повернуться и уйти, будто ее тут нет!

– Нет уж! – завизжала она. А визжать она умеет. – Сперва ты объяснишь мне, как тебе удалось приворожить моего сына, что он пришел служить тебе даже во время забастовки!

Это опять про меня, что я пришел кормить свиней.

Я открыл было рот сказать, что никто меня не ворожил, а я просто забыл про ее забастовку, но мамка схватила меня за рукав и начала волочь к воротам.

– А ты, дурак несчастный, убирайся отсюда! Ты у меня еще получишь по заслугам!

Я хотел вырваться, но она от злости стала очень сильная, так что мы застряли с ней на полдороге, толкая друг друга то назад, то вперед. Поняв, что выгнать меня так просто ей не удастся, мамка оставила меня и опять бросилась на фрау Инге.

– Чем ты его опоила, ведьма проклятая? – визжала она. – Ты, небось, думаешь, он и дальше будет у тебя в рабстве? Так нет же! Я все твои приворотные зелья своими руками уничтожу!

Фрау Инге резко обернулась, и глаза у нее стали узкие и злые, каких я никогда раньше у нее не видел.

– А к кому ты потом побежишь за помощью, когда опять подзалетишь от прохожего молодца?

Тут мамка взвилась, будто ей всадили в зад иголку:

– А может, я и не подзалетала вовсе? Может, это все ворожба твоя, и ничего у меня не было? Точно! Потому и зелья твои мне помогли, что не было у меня ничего!

И она ринулась к кухонной двери. Фрау Инге подняла шланг и нажала пусковую кнопку. Сильная струя ударила мамке в спину. Ее вишневое пальто сразу стало черным, но это не остановило ее. Она уже подбегала к крутым гранитным ступенькам, которые вели к кухонным дверям. Но в тот момент, когда она схватилась за перила и сделала первый шаг на первую ступеньку, дверь кухни распахнулась и навстречу ей вышел парашютист. Опираясь на тяжелую дубовую палку, которая осталась от Карла, он остановился на гранитной площадке перед дверью – очень бледный, очень высокий, очень непохожий на всех людей в нашей деревне. Он ничего не говорил и не двигался, он просто стоял, опираясь на палку и смотрел сверху на мамку, но по спине у меня побежали мурашки. Я представил себе, как он прыгнул в окно вагона, и мне стало страшно, что он может так же прыгнуть на мамку.

– Мамка! – закричал я. – Беги!

Все-таки она была моя мамка, хоть и противная, и злая, но моя.

Мамка застыла на минутку на месте и стала пятиться к воротам, делая правой рукой какие-то странные движения, словно отгоняла от себя мух.

– Сын Тьмы! – шептала она. – Сгинь, сгинь, дьявольское отродье!

Но парашютист никуда не сгинул, а, наоборот, шагнул к ступенькам, словно направляясь в мамкину сторону. Мамка схватила меня за руку и потащила к воротам:

– Скорей, скорей отсюда! – шипела она мне. – Пока они не сотворили нам зла!

Но я все же вырвался от нее и пошел за своим велосипедом – не думала же она, что я потащусь с горы пешком? Мамка не стала мне мешать, она вдруг перестала сердиться и вся как-то сникла, даже размером стала меньше, будто проколота шина, из которой выпустили воздух. Мне даже стало ее жалко, я уже знал, что дома она будет плакать и проклинать свою несчастную судьбу, которая послала ей сына-урода, то есть меня.

Мамка остановилась и обернулась к фрау Инге, которая молча стояла на пороге свинарника со шлангом в руке, – она забыла его закрыть и поток воды сбегал от ее ног вниз к воротам.

– Мы уходим! – объявила ей мамка. – И вернемся, когда будут приняты условия нашей забастовки.

А я даже не знал, что у нашей забастовки есть условия, я думал, это просто так забастовка, чтобы мамка могла поехать в город к тете Луизе. Но и фрау Инге не стала спрашивать, какие такие у нас условия. Она закрыла кран на шланге и сказала тихо, голос у нее был усталый:

– Можете не возвращаться – вы уволены.

Я не понял – что значит, не приходить больше? И спросил:

– А как же Ганс?

Я еще хотел спросить про Отто, он ведь тоже ко мне привык, почти как Ганс, но мамка дала мне подзатыльник и прошипела:

– Заткнись, дурак несчастный!

А потом спросила у фрау Инге:

– А кто же нам зарплату теперь платить будет?

Фрау Инге повесила шланг на ручку двери и стала стаскивать с пальцев резиновые перчатки. Перчатки никак не стаскивались, они трещали и пузырились, и это раздражало фрау Инге.

– Об этом ты спроси того, кто научил тебя бастовать.

Мамка хотела что-то ей ответить, но фрау Инге не стала ее слушать. Она наконец стянула перчатки, сунула их в карман комбинезона, а потом подошла к мамке и протянула руку:

– Отдавай мои ключи, Марта. Кончай спектакль и уходи.

– Ключи? Какие ключи? – запричитала мамка. – Нет у меня никаких ключей.

Она даже открыла свою белую сумочку, чтобы показать фрау Инге, что там нет ключей. Это была чистая правда – ключи были у меня в кармане. Я хотел было сказать об этом и сунул даже руку в карман, но мамка быстро схватилась за руль моего велосипеда и покатила его к воротам. Так что мне пришлось схватиться за руль с другой стороны и пойти за ней.

– Я обязательно принесу ключи завтра или, может, даже сегодня, – часто тараторила мамка, наверно, врала, – она всегда говорит быстро-быстро, когда врет. И все сильнее напирала на велосипед, а велосипед напирал на меня, так что мы почти бежали, будто ветер выносил нас из замка.

Я очень удивился, что мамка вдруг так заспешила уходить. То кричала и ссорилась, а то вдруг заспешила. Мне очень хотелось остаться, она ведь мне даже не дала попрощаться с Гансом. Я шел за ней и все оборачивался на фрау Инге – мне казалось, что она возьмет и скажет, чтобы я остался. Кроме того, я не хотел уходить, потому что не знал, будет ли фрау Инге теперь давать мне каждую неделю мои пять марок. И потому что я так и не успел спросить парашютиста, где он спрятал свой парашют.

## Ури

Под утро Ури приснилась мать.

Совершенно нагая, она стояла под проливным дождем, прижимаясь спиной к красной каменной стене, и штормовой ветер швырял ей в лицо песок и мокрые листья. То ли непрерывно вспыхивали молнии, то ли ночь непрерывно сменялась днем, но искаженное страхом лицо матери с каждым новым порывом ветра то освещалось, то исчезало во тьме.

Он сам, не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой, лежал на гранитном столе для разделки мяса и беспомощно смотрел на страдания матери за мокрым от дождя окном. В эту минуту он не чувствовал к ней привычной враждебности, а, напротив, опять любил ее, как в детстве, и страдал за нее. Наконец, усилием воли преодолев сковывающее все его тело странное оцепенение, он с трудом соскочил со стола и попытался вырваться в законное пространство, но упругая пластина стекла охватывала его со всех сторон и не пускала наружу. Прижимаясь лицом к холодной прозрачной поверхности, он пытался привлечь внимание матери, чтобы позвать ее к себе, но она не замечала его и, все больше уступая напору ветра, медленно сползала вниз, туда, куда, пузырясь, стекали струи дождя.

Уже исчезая в накатывающем на нее мутном потоке, мать наконец подняла на него глаза – они были чужими, плоскими и светлыми, как степные озера.

Он вскочил в холодном поту – на нем был чей-то черный халат, комната была ему незнакома. Сквозь узкую щель в чужих шторах пробивался бледный утренний свет. Он глянул на часы – девять пятнадцать: его самолет уже больше часа висел в воздухе где-то над Альпами. Пора было срочно звонить матери, пока она еще не поехала в аэропорт его встречать. А потом уже думать, как быть дальше.

Нужно было идти искать хозяйку, чтобы попросить разрешения позвонить. Он прислушался. В доме было тихо, но где-то за окном высокий женский голос равномерно выкрикивал короткие рубленые фразы, словно лозунги во время демонстрации.

Ури осторожно ступил на вывихнутую ногу – это казалось невероятным после вчерашнего, но он сделал первый шаг, за ним второй. Робкая боль таилась где-то между щиколоткой и коленом, с каждым шагом она постепенно нарастала, словно осознавая свою власть над его телом. Осторожно хромя, он подошел к окну и слегка отодвинул штору. Прямо перед ним в дверях низкого кирпичного здания молча стояла вчерашняя ведьма – как она себя назвала, Инге, что ли? – со шлангом в руке. Лицо у нее было напряженное и бледное, наверно, от недосыпа: когда вчера – или это было сегодня? – она помогла ему добраться до постели, старинные часы на кухне пробили без четверти пять. Рядом с Инге, приоткрыв слюнявый рот, беспомощно топтался вчерашний дефективный парень из кабачка. Оба они смотрели куда-то вправо, откуда доносились крики, но кто кричал, из окна не было видно.

Ури затянул потуже пояс халата, вышел в коридор и огляделся. Коридор был темный, со множеством дверей, и Ури не мог с ходу сообразить, с какой стороны может быть выход во двор, но за полуприкрытой резной дверью слева он разглядел знакомую кухню. Он вспомнил, как вчера ночью принял Инге за мать, когда она стояла в мерцающем дождевыми каплями дверном проеме, упираясь в его кресло ногой в белом сапоге. Уяснив, что во двор можно выйти из кухни, Ури толкнул тяжелую дверь и попытался быстро пересечь сверкающий лаком деревянный простор, но подвела большая нога: она вдруг подвернулась, и он заскользил по доскам, как по льду. Чтобы не потерять равновесия, он уперся обеими руками в подвернувшуюся на пути резную горку для хрусталя и невольно загляделся на ее сумрачные недра, заполненные разноцветными бутылками и флаконами. Все флаконы были украшены белыми ярлыками, на которых кружевной готической вязью были выведены диковинные имена, составляющие вместе нечто вроде страницы старинной книги по черной магии.

Ури оттолкнулся от горки и хотел было шагнуть к двери, но нога совсем разболелась, дурнота подкатила к горлу, и перед глазами замелькали белые мухи. Он огляделся по сторонам в поисках опоры и заметил прислоненную к стене трость с металлическим набалдашником в виде свиной головы. С трудом доковыляв до трости, он подхватил ее и тяжело захромал к выходу.

Он вышел на высокое крыльцо, с удовольствием вдохнул влажный воздух, настоенный на аромате опавших листьев, и вдруг заметил, что прямо на него, выкрикивая на бегу какие-то невнятные угрозы, катится шарообразная женщина в вишневом пальто. Пока Ури, преодолевая головокружение, соображал, как привлечь внимание Инге, вишневая женщина внезапно замолкла, попятилась и начала медленно выкатываться из поля его зрения, увозя за собой неведомо откуда взявшийся велосипед с повисшим на руле дефективным парнем. Инге шла за ними, волоча по двору красную змею шланга, который она по-прежнему держала в руке. Возле ворот все трое остановились и начали о чем-то пререкаться. И хоть последний шанс перехватить мать до ее отъезда в аэропорт стремительно приближался к нулю, у Ури не было сил спуститься по ступеням во двор.

Наконец коловращение у ворот рассосалось, велосипед со своими провожатыми исчез из виду, и в наступившем молчании где-то совсем близко начал звонить небольшой, но настойчивый колокол. Инге осталась стоять возле решетчатой калитки, глядя себе под ноги, – со стороны казалось, что она разглядывает темно-красные гранитные плиты, которыми был вымощен двор.

– Фрау ведьма! – сипло позвал Ури и удивился слабости своего голоса. В груди заклокотал глубоко затаившийся там кашель, потревоженный чрезмерным усилием голосовых связок. Но, как ни странно, Инге его услышала поверх колокольного звона и глухого шороха мокрого леса. Она подняла на него глаза, улыбнулась и, отбросив шланг, пошла к крыльцу, приглаживая на ходу светлые пряди, выбившиеся из-под повязанной на лбу синей ленты.

– Я вижу, вы уже готовы идти пешком в Мюнхен? – воскликнула она, но Ури захлебнулся кашлем и не расслышал ее слов. Она быстро взбежала на крыльцо и подтолкнула его к двери:

– Живо заходите внутрь, не стойте на холоде! Боюсь, что я вас еще не вылечила!

Усилием воли пробившись сквозь кашель, Ури сдавленным голосом попросил разрешения позвонить домой. Инге кивнула:

– Звоните, я припишу это к общему счету, – и поспешно вышла.

Все время, пока Ури набирал номер и ждал соединения, он слышал все тот же настойчивый звон колокола. А может, это был не колокол, а сигнал тревоги – словно кто-то бил молотком по стальному рельсу?

Услыхав его голос, мать совсем не удивилась, а только сказала устало, без всякого выражения:

– Я так и знала.

И замолчала, ожидая объяснения. Ее молчание даже на столь далеком расстоянии окутывало Ури липкой паутиной интимных токов и обязательств, и он начал говорить поспешно и бессвязно, чтобы поскорее вырваться из этой паутины. Почувствовав, что он готов выскользнуть из поля ее власти, мать прервала его вопросом, когда его ждать. Он знал, что она искренне обеспокоена и хочет его видеть, но это знание не освобождало его от непреодолимого желания расправиться с ней быстро и жестоко. Он ведь последний год только тем и занимался, что рвал старые связи. В чем очень преуспел. Порвал со всеми, кроме нее – с нею одной он не мог справиться, она всегда была сильнее его, за что ей и полагалось особое наказание. Словно играя в поддавки – это была их любимая игра времени его детства, – она спросила, не послать ли ему денег на билет.

Ури помедлил с ответом, растягивая удовольствие, и в наступившей тишине обнаружил, что колокол больше не звонит.

– Нет, не присылай, – отрубил он наконец, – ты и так достаточно потратилась на меня.

Что правда, то правда – лишних денег у нее не было, а то немногое, что было, съели его психологи и процедуры. Но он не сомневался, что она готова влезть в любые долги, лишь бы заполучить его обратно и прибрать к рукам. Его болезнь давала ей новые возможности власти над ним: того нельзя, это необходимо, не ложись, не садись, не вставай. Мать начала уверять его, что все это глупости, она достанет деньги, – сколько там, суший пустяк. Но он перебил ее заявлением, что пора кончать, он звонит из чужого дома. Нет, номер свой он дать ей не может – не хочет! – он сам ей вскорости позвонит снова. Нет, он в порядке! А что с голосом? Да ничего особенного, небольшая простуда, и нечего волноваться. Она начала было умолять его о чем-то, но он не стал слушать, резко положил трубку и, обернувшись, увидел Инге. Она стояла на пороге двери, ведущей в коридор, и было неясно, вошла ли она только что или гораздо раньше.

– Ну, что вам сказала ваша девушка? – полюбопытствовала она.

– Какая же вы ведьма, если не можете отличить девушку от старушки-матери? – отшутился Ури, хоть ему было неприятно думать, что она слышала его разговор с матерью. Странно, но он никак не мог вспомнить, на каком языке он пререкался с матерью – на иврите или на немецком. Эмоциональное напряжение этих пререканий достигло такого накала, что он не помнил ни смысла, ни вкуса произнесенных им отдельных слов, а ощущал только трепет собственного голоса на струнах голосовых связок. Выходило, что он напрасно два месяца бесцельно мотался по Европе – события последних суток явно показывали, что нервы его все еще продолжают шалить.

Инге подошла к кофейной машине и стала наливать кофе в приготовленные на подносе чашки. Потом поставила поднос на накрытый к завтраку стол и жестом пригласила его сесть. Подавляя смущение, Ури спросил:

– Что-нибудь случилось?

– С чего вы взяли? – пожала она плечами.

– Мне показалось, я слышал сигнал тревоги, – поспешил пояснить Ури, чувствуя, что влип. Что, собственно, он тут делал и как ему отсюда выбираться – без денег и с поврежденной ногой? Похоже, что он напрасно обидел мать – придется снова ей звонить и просить денег. От этой мысли ему стало совсем не по себе. Чтобы скрыть замешательство, он отхлебнул кофе из легкой, почти невесомой чашки и неожиданно ощутил некую эротическую радость от прикосновения фарфора к языку и губам. Он быстро допил кофе, перевернул чашку вверх дном и даже присвистнул, увидев клеймо изготовителя.

– Восемнадцатый век? – воскликнул он. – Да ведь из такой чашки страшно пить, а вдруг разобьется?

Инге сдернула с волос синюю ленту и взмахом головы откинула со лба слегка влажные от пота пряди.

– О, вы знаете толк в старинных вещах? Я так и думала.

Он не спросил, почему она так думала, – он уже поверил в ее способность видеть его насквозь. Весь этот проклятый год только вещи были ему милы: их можно было ломать, чинить и бросать, и они не жаловались, не приставали с расспросами и не надрывали душу, они не требовали от него ни любви, ни откровенности, ни внимания. Ничего из того, что превратилось в пепел в тот миг, когда мир его взорвался и рухнул и он выполз из-под обломков один, без Эзры и Итая.

Пока Инге молча наливала ему вторую чашку кофе, колокол зазвонил снова, где-то совсем близко, чуть ли не за стеной. Ури вопросительно поднял брови и кивнул в направлении колокольного звона, но она решительно тряхнула волосами – ничего, мол, обойдется! – и стала намазывать масло на горбушку разломленной пополам немецкой ржаной булочки. Вторую половинку она протянула ему:

– Ешьте, не стесняйтесь – завтрак я тоже припишу к вашему счету.

Ури взял булочку, она была теплая, но есть не стал – при мысли о еде тошнота снова подкатила к горлу. Инге заметила, что его мутит, – черт ее знает, как она все замечала! – и, как вчера ночью, легко коснулась его лба прохладной ладонью:

– У вас все еще жар. Боюсь, вам придется тут задержаться, пока я вас не вылечу. Или вы предпочитаете, чтобы я отвезла вас в больницу?

Она надкусила булочку ровными, очень белыми зубами, и Ури загляделся на четкие движения ее длинных пальцев над фарфоровой тарелкой: нож-вилка, нож-вилка. Ури часто судил о людях по рукам – у Инге руки были опасные: хоть изящные, но крупные, почти мужские, с тонкими запястьями и узкими сильными ладонями, руки человека, знающего, с какой стороны хлеб намазан маслом. С такой женщиной стоило говорить без обиняков, будь она хоть сто раз ведьма, и он спросил напрямик:

– А что вам до меня? Вы ведь можете просто выставить меня со двора и не морочить себе голову.

– Как вы себе это представляете – с температурой и без гроша в кармане?

Ури опять мысленно пролистал свой разговор с матерью – неужто он говорил с нею по-немецки? – и усмехнулся:

– Но вы-то тут при чем? Вы ведь сказали, что вы ведьма, а не добрая фея.

– Боюсь, доброй феи из меня бы не вышло.

Странная гримаска, с которой она произнесла эти слова, была для Ури единственной и неповторимой. Он с детства привык видеть, как мать в случае неожиданного замешательства точно так же, слегка оттопырив нижнюю губу влево и вверх, коротким толчком выдыхала маленькую порцию воздуха через зазор между верхней и нижней губой. Знакомая эта гримаска на миг превратила опасную взрослую женщину в растерянную девочку, с которой можно было играть в поддавки, а не в прятки.

– А раз вы не фея, что вы собираетесь со мной делать? Ведь у меня и вправду нет ни гроша.

Инге собралась было ответить, но тут кто-то начал стучать в дверь мелким прерывистым стуком.

– Заходи, заходи! – крикнула она, и в медленно приоткрывшуюся дверь вошел серебристый дог Ральф. Он секунду постоял, мрачно глядя на Ури, словно недоумевая, почему тот все еще здесь, а потом подошел к Инге и лег у ее стула, положив большую голову на ее ступни. От его взгляда Ури стало не по себе.

– Ваш пес меня не любит, – сказал он.

– Естественно: он однолюб и любит только меня, правда, Ральф? Не говоря уже о том, что вы вчера жестоко его унизили – ведь он воображал, что непобедим.

При звуке своего имени Ральф наострил уши и поглядел на хозяйку, она в ответ опустила руку на его ворсистый затылок и, чуть-чуть пошевеливая пальцами, начала нежно гладить его за ухом. Пес закрыл глаза, млея в блаженной истоме. Поддавшись неожиданно ревнивому желанию прервать эту любовную сцену, Ури попытался вернуть Инге к их прежней беседе, но голос подвел его:

– Фея вы или ведьма, но на мой вопрос вы не ответили, – прохрипел он и снова зашелся в приступе надрывного кашля.

– Вот вам и ответ, – укоризненно сказала Инге. – У вас вполне может быть воспаление легких.

Дружеским толчком столкнув голову пса со своих ног, она подошла к шкафчику с целебными снадобьями, решительно извлекла оттуда три флакона, откинула волосы со лба и стала быстро смешивать в бокале разноцветные жидкости. Подняв бокал к свету, она переждала, пока кашель Ури утихнет, и сказала, глядя на шипучее кружение радужных струй:

– Давайте так, я сперва попробую сбить вам температуру, а потом мы обо всем поговорим. Ладно?

Возразить ей Ури был не в силах – в груди у него kloкотало, и он жадно ловил ртом воздух, как рыба, выброшенная на песок. Инге дополнила бокал доверху кипятком из чайника и протянула ему:

– Выпейте это и идите ложитесь.

На этот раз он выпил все до дна покорно, как дитя, – после кашля его охватила страшная слабость, и он не мог подняться со стула. Инге протянула ему руку:

– Пошли, я помогу вам.

Опираясь на ее сильную ладонь, Ури с трудом встал и почувствовал, как его охватывает свинцовая дремота. С трудом шевеля языком, он прошептал:

– Что вы подмешали в это пойло, фрау ведьма?

Она опять отмахнула светлые пряди ото лба и вывела его в коридор:

– Разное. Целебные травы с Валгаллы, собранные в канун Вальпургиевой ночи, несколько капель невинной крови, приворотное зелье и толченые зубы дракона.

Если бы Ури мог, он бы засмеялся. Но он не мог смеяться, он с трудом добрал до постели и рухнул на тугой матрац. Быстро погружаясь в горячую одурь лихорадочного сна, он услышал мягкое треньканье телефонного звонка в коридоре и напряженный голос Инге:

– Спасибо, фрау Штрайх. Давно? Ну, если только что, это нестрашно. Хорошо, я постараюсь, фрау Штрайх. Не волнуйтесь так, я сейчас приду и все улажу.

Он еще слышал, как она бросила трубку и поспешно вышла. Вокруг было очень тихо – колокол больше не звонил.

## Отто

Отто терпеть не мог фрау Штрайх, потому что она была глупая старая курица. Когда он отстучал эту идею Инге, вернее, когда у нее хватило терпения выслушать его до конца, она не преминула заметить, что фрау Штрайх нет еще и пятидесяти. В ответ Отто объявил, что возраст ни при чем – некоторые курицы сразу рождаются старыми и фрау Штрайх именно такая.

Сегодня эта глупая курица была еще глупее, чем обычно: она непрерывно кудахтала и роняла разные предметы – нарочно, чтобы его раздражать. Вообще, все сегодня словно сговорились: Клаус сперва морочил ему голову каким-то парашютистом, у которого порвался парашют, а потом вдруг вспомнил про Карла. Отто не хотел ничего слышать про Карла, так что пришлось кричать и бросать тарелки, чтобы Клаус наконец заткнулся. И что из этого получилось? Клаус убежал, так и не почесав Отто спину, и Отто все утро бил протезом в рельс в надежде, что Клаус вернется. Курица Штрайх, конечно, не пришла от этого в восторг – она считала, что Отто вовсе ни к чему бить в рельс, когда она крутится вокруг него, но ему ведь была нужна не она, а Клаус, что же ему оставалось делать?

Клаус был нужен Отто не только для того, чтобы он почесал ему спину, но и чтобы он повторил тот бред, который он нес, когда кормил Отто завтраком. Тогда Отто был так раздражен из-за Карла, что не слишком прислушивался к болтовне Клауса. Но постепенно подробности этой болтовни стали всплывать в его памяти – парашютист упал с неба на пороге «Губертуса», но не разбился насмерть, благодаря Инге, которая его спасла и – главное! – привезла в замок. Это было похоже на правду, потому что сразу объясняло многие странности вчерашней ночи.

Факт – парашютиста или трубочиста, но какого-то очередного мужика она привезла – в этом не было сомнения. Потому она и не пришла ночью проведать Отто – ей было не до него. И утром прислала к нему Клауса и курицу Штрайх, а сама только забежала на минутку, чмокнула его где-то возле уха лживым поцелуем и тут же ускакала под предлогом забастовки. Ей, видите ли, надо кормить свиней – ей свиньи дороже отца! Точно так она себя вела, когда на них свалился невесть откуда этот проклятый Карл, который хорошо попил его, Отто, крови. За что и поплатился, когда Отто выяснил, из каких далей его принесло.

Но сейчас было не до воспоминаний. Сейчас Отто необходимо было срочно разузнать, кого на этот раз приволокла в дом его непутевая дочь. Спрашивать у курицы не имело смысла – та с трудом представляла себе свою жизнь, не то что чужую. Клаус же как исчез, так больше и не появился, несмотря на то, что Отто натер себе протезом рану, вызывая этого идиота. Не то чтобы Клаус был надежным источником, но он часто по глупости мог рассказать много такого, чего другие, более умные, даже и не замечали. Наблюдения Клауса напоминали наблюдения ребенка, который спрятался под столом и видит, кто кого щупает там за коленки.

Когда Отто совсем отчаялся и продолжал бить в рельс уже только для того, чтобы позлить курицу Штрайх, к нему ненадолго заглянула Инге. Вид у нее был усталый – еще бы, после бессонной ночи! – но Отто сразу уловил в ее настроении какой-то веселый перезвон, будто где-то внутри у нее звенели колокольчики. Это был опасный признак – уж кому, как не ему, было знать свою дочь! Он спросил ее, что нового, и она, ни словом не обмолвившись о парашютисте, стала рассказывать байки про забастовку и про угрозы Марты. Отто эти угрозы волновали мало: Марту он считал бы курицей еще более глупой, чем дура Штрайх, если бы такое было в принципе возможно. Зато ему стало ясно, что Клаус сегодня уже не придет, и он сделал попытку выяснить что-нибудь у дочери.

Стоило ему отстучать полвопроса про парашютиста, которого она якобы привезла в замок среди ночи, как она немедленно объявила, что на длинные беседы у нее сегодня времени

нет – ведь он слышал ее рассказ про забастовку, правда? Отто она этим не удивила, это была ее обычная уловка: стоило ему завести разговор о чем-нибудь для нее не подходящем, как она тут же начинала спешить. Но главное он все-таки узнал: она не вскинулась – какой, мол, парашютист? – и не стала отрицать, что кого-то привезла. Так что пора было отправляться на разведку.

Конечно, о разведке нечего было и думать, пока вокруг него квохтала глупая курица Штрайх. Поэтому первым делом надо было ее вытурить и поскорей. У Отто были разработаны разные способы от нее избавляться, она ему часто мешала. Сегодня он решил воспользоваться рвотой – это было неприятно, но зато действовало почти наверняка. Он отстучал этой хлопотливой идиотке, что проголодался, и попросил супу – рвота супом была не так мучительна.

Дура Штрайх попыталась возражать – пусть он немного подождет, ему еще рано обедать. Тут он взбесился и начал гонять кресло с максимальной скоростью из спальни в кухню и обратно, сшибая при поворотах лампы и горшки с цветами. В результате она уступила и, льстиво улыбаясь, поставила перед ним тарелку с супом, а сама села рядом на специальный стул, чтобы его кормить. Теперь пришло время действовать. Отто набирал суп в рот, делал вид, будто глотает, а потом изображал нечто вроде рвотного спазма и выплескивал суп себе на свитер. Фрау Штрайх встречала каждый такой плевок воплем отчаяния. После нескольких изрыгнутых Отто ложек она с громким квохтаньем помчалась к домашнему телефону и вызвала Инге.

Как только Инге вошла, Отто потребовал от нее послать курицу домой. Та прямо позеленела, когда услышала, чего он хочет – она, хоть и дура, но наловчилась понимать его морзянку не хуже, чем Инге.

– Что значит, послать? Ко-ко-ко! Ко-ко-ко! – закудаhtала она. – Я не посылка, чтоб меня посылали. Я – сотрудник социальной службы! Если я вас не устраиваю, ко-ко-ко! – пожалуйста, обратитесь в нашу ко-ко-ко! – нтору, и я с радостью найду себе другое место. Где будут больше ценить мою преданность, ко-ко-ко! Ко-ко-ко!

Чтобы заглушить ее ненавистный куриный голос, Отто опять попытался поднять трезвон. Но ему не удалось ударить лапой в рельс больше трех раз, потому что Инге вдруг разозлилась – она перехватила его руку и сказала твердо:

– Прекрати сейчас же, Отто, все равно фрау Штрайх никуда не уйдет, ясно?

Отто вспыхнул и хотел наехать на дочь креслом, но ее рука опять остановила его – она больно нажала на его плечо и он сделал вид, что смирился. За время их борьбы из-за Карла он научился лицемерно уступать, чтобы потом получить хитростью то, чего не удалось получить силой. Он отстучал:

– Ладно, пусть остается. Но и ты не уходи, мне так плохо.

Инге, конечно, и не подумала задержаться.

– Не преувеличивай, Отто, ты просто капризничаешь, – бросила она по пути к выходу и исчезла.

Страшная тоска накатила на Отто – мир без Инге сразу стал пустой и темный. Но Отто умел справляться с тоской, для этого надо было только преодолеть любовь к дочери и настроиться на ненависть. Было это делом непростым и требовало большой сосредоточенности всех душевных сил. Так что ему было чем себя занять до самого ухода курицы, которая что-то обиженно кудаhtала, пока меняла ему свитер и кормила его обедом.

Не обращая на нее внимания, Отто замкнулся в себе и даже не заметил, что он сегодня ел, хоть еда последнее время была его главной радостью. Он разжигал в себе мрачный пламень вражды к дочери, которая была единственным светом его угасающей жизни и радостью даже большей, чем пища. В то время, как он был ее бременем, ее наказанием, гирей на ногах. Он повторял себе без конца, что она только и мечтает о его смерти, отчего его вялая кровь вскипала черной злобой, возвращающей его к жизни. Напрасно она надеется, он и не подумает умереть ей в угоду, чтобы она могла умчаться куда-то в большой мир, где ее ждут мужчины,

мужчины, мужчины! Он ясно представил этих бесчисленных самцов, которые, похотливо хрюкая, устремятся к ней, привлеченные ее красотой и доступностью. Что она доступна, он не сомневался – ведь кроме Карла тут побывали и другие, не такие настойчивые и не так чтобы долго, а временные, залетные, пришедшие из ниоткуда и ушедшие в никуда. А может, никого тут не было, а он сам, мучимый ревностью и страхом ее потерять, всех их сочинил – отвратительных, похотливых козлов с кривыми волосатыми ногами и с рыжей шерстью на груди.

Вот Карла он не сочинил, он просто был бы неспособен придумать такое чудовище. Внешне Карл был ничем не похож на этих вонючих козлов. Он был бледным, длинноногим и узким, говорил всегда вежливо и тихо и, когда улыбался, охотно показывал свои ровные идеальные передние зубы. Его страшную сущность выдавали только острые клыки и всегда насто-роженные узкие глаза, прикрытые матовыми стеклами очков. Но выдавали они эту сущность не сразу – чтобы разгадать ее, потребовалась пронзительная, обостряющая взгляд ненависть, подобная той, которая, с каждым днем разгораясь, долгие месяцы полыхала в душе Отто.

Теперь Отто предстояло срочно выяснить, не сочинил ли он и парашютиста. Отто был уверен, что Инге привезла кого-то ночью в фургоне – может, он и впрямь был парашютист, который разбился? Отто еще вчера попытался узнать, что творится в ее половине замка, для чего он под предлогом позднего часа твердо отклонил ее попытку переложить его из кресла в постель. Но напрасно он под утро тайком выкатился в кресле во двор и колесил под дождем, прижимаясь носом ко всем доступным окнам в надежде что-нибудь разглядеть за их холодной поверхностью. За окнами было темно, а с небес лил холодный дождь, так что Отто, опасаясь простуды, был вынужден довольно быстро вернуться обратно к себе.

И хотя ему так и не удалось увидеть этого таинственного незнакомца, свалившегося ему на голову чуть ли не с неба, он почему-то был уверен, что тот задержится у них надолго – уж слишком беззастенчиво весело звенели сегодня колокольчики в голосе Инге, даже когда она сердилась.

Значит, ему, Отто, придется опять начать борьбу за свои права – даже войну, если понадобится. Он будет действовать не спеша, осторожно, не выявляя своих намерений. В первую очередь ему надо узнать, кто этот гость и под каким соусом дочь его заманила в замок. Для этого надо будет своим ходом проехать по извилистому подземному туннелю, соединяющему ее крыло замка с крылом Отто, что всегда было для него непросто, даже с провожатым.

Но Отто уже был готов на любые жертвы – он все равно не мог жить под гнетом того тревожного страха, который охватил его после рассказа Клауса. Просто надо было обдумать все спокойно и не допускать ошибок. Он так глубоко погрузился в свои расчеты, что не заметил, как курица напялила пальто и шляпку, – он ее чуть не упустил, какая глупость! Ведь только она могла сейчас помочь ему выполнить его план.

Дело в том, что он был в клещах – с одной стороны, необходимо было произвести разведку до того, как Инге поможет ему выбраться из кресла и запихнет его в постель под одеяло. С другой стороны, ему нужен был продолжительный спокойный отрезок времени, чтобы проехать по подземному туннелю, обследовать все гостевые комнаты и незаметно вернуться обратно. Для этого надо было избавиться от внимания дочери.

Не то чтобы она чрезмерно баловала его своим вниманием, – чего нет, того нет! Но все же пару раз она к нему обычно забегала, даже если он и не звонил в рельс. Тем более сегодня, когда нет Клауса, который включил бы ему телевизор и покормил бы ужином. Поэтому, пока фрау курица аккуратно укладывала футляр с очками в сумочку, он поспешно отстучал ей приказ позвонить Инге и попросить, чтобы она сегодня до ночи к нему не приходила – он, дескать, понимает, как она устала и обойдется своими силами.

Курица хотела было возразить, но глянула на его сердито ощеренный рот и смирилась – послушно позвонила Инге и убралась восвояси. Избавившись от этой помехи, Отто направил кресло в туннель. Ему так не терпелось разведать, чем занимается дочь наедине со своим пара-

шютистом, что он проехал через туннель меньше чем за час. Были, конечно, минуты, когда ему становилось страшно, что затея эта ему не по силам, и хотелось повернуть назад – он не учел, сколько в этом проклятом туннеле мостиков и поворотов, – но он преодолел свою слабость и, в конце концов, задыхаясь и хрипя, выкатил кресло в коридор жилого этажа замка.

За время его путешествия по туннелю за окнами совершенно стемнело и в коридоре было тихо, даже телевизор не бормотал ни в кухне, ни в гостиной. Стараясь двигаться бесшумно, Отто медленными плавными толчками подъехал к дверям спальни Инге и прижал ухо к дереву чуть повыше замочной скважины – в его положении это было непросто, но он разработал технику подслушивания еще когда следил за романом дочери с Карлом. Похоже, что в спальне никого не было – он так натренировал свое здоровое ухо, что мог через дверь слышать ее дыхание, тем более что он вынудил тогда Клауса тайно просверлить в двери две крошечных дырочки. Молчание Клауса стоило ему пригоршню марок, которые он в три приема выудил из кошелька Инге.

Если Инге нет в спальне, то где она может быть – неужто все еще в свинарнике? Конечно, она могла уехать куда-нибудь, но, оглядевшись, Отто заметил белые сапоги, небрежно брошенные под белым плащом, висящим на вешалке, и рядом на крючке связку ее ключей. Значит, она была где-то поблизости. Мысль о том, что она там с парашютистом, оглушила его таким болезненным толчком крови в затылке, что он на миг задохнулся и нечаянным судорожным движением нажал на педаль кресла. Кресло дернулось и мягко стукнулось об стенку. Отто замер в ужасе – сейчас она его обнаружит!

И тут он услышал ее смех, совсем рядом за стенкой – светлый, переливчатый, полный колокольчиков.

– Ну уж сразу и рабство! – воскликнула она. Отто давно не слышал, чтобы голос дочери звучал так легко и раскованно. – Обыкновенная работа за деньги.

Звякнула ложечка о стакан – похоже, они всего-навсего пили чай, – и незнакомый мужской голос спросил:

– Но должен же я знать, что за работа и что за деньги?

А Инге – всегда такая серьезная, такая четкая в расчетах, – надо же! увильнула от ответа:

– Деньги – в размере вашего долга, работа – в размере ваших денег.

Незнакомый голос опять зазвенел ложечкой о стакан, но не раздраженно, нет, совсем не раздраженно! – просто зазвенел ложечкой о стакан:

– Все-таки выходит – рабство.

Она быстро перебила:

– Рабство, не рабство – не важно! Согласны вы или нет?

Голос медлил с ответом, плавно помешивая ложечкой в стакане и уж, конечно, оббегая жадным мужским взглядом по всем изгибам статного тела дочери – Отто, и не видя, чувствовал этот липкий, внимательный взгляд. Когда Инге приходила домой после своих городских поездок, от нее так и шибало электрическим зарядом скопившихся на ее коже мужских вожделений. Налюбовавшись властью, Голос сказал:

– Конечно, не согласен. Но у меня как бы нет другого выхода.

Она опять засмеялась:

– Вот и отлично!

Холодная рука стиснула сердце Отто, и оно на миг остановилось, чтобы вернуться к жизни с лихорадочным ускорением. За стеной опять зазвенела посуда, на этот раз прозрачно – стаканы и блюда о серебряный поднос, динь-динь! За ними более сурово – ложечки и ножи, дон-дон! Скрипнул отставленный стул – пора было удирать. Отто сейчас только не хватало, чтобы дочь застучала его под своей дверью. Но не мог же он уехать, так и не узнав, останется ли она в комнате парашютиста на ночь или уйдет к себе.

Он осторожно вырулил по узкой наклонной дорожке вниз, в парадную столовую, откуда начинался подземный туннель. Звуки из комнаты сюда не доносились, но пока Отто переводил дыхание, в коридоре невидимо отворилась дверь и опять звякнула посуда на подносе, теперь уже совсем близко. Отто затаился в полутьме за спиной рыцаря в стальной кольчуге. Он даже закрыл глаза, как делал в детстве, когда играл с бонной в прятки.

– А теперь выпейте лекарство и спите! – скомандовала наверху дочь. – Мне нужен здоровый сильный работник.

– Раб, – поправил ее Голос, и оба засмеялись. Похоже, между ними было полное согласие.

## Ури

«Сердце красавицы склонно к измене и к перемене, как ветер мая!» – мелодия прицепилась, как верблюжья колючка, и невозможно было от нее отвязаться.

«...и к перемене, и к перемене, как ве-е-е-тер мая!»

Ури уже не мог вспомнить, сколько раз он повторил эти игривые слова, а желтая струя, истекающая из него в старинный фаянсовый унитаз, все не иссякала. Унитаз был украшен по ободку алыми розочками в симметричных розетках зеленых листьев, такими же розочками, только чуть-чуть покрупней, было усыпано дно огромной фаянсовой ванны, возвышающейся в углу на изогнутых бронзовых ножках с растопыренными стальными когтями.

Стрелки фаянсовых, пестрящих розочками часов показывали девять двадцать. Но никак не утра – за высоким окном, задернутым ситцевой в розочках же занавеской, царила непроглядная тьма. По всему выходило, что он проспал почти полные сутки – просто чудо, что его мочевой пузырь не лопнул где-то на пути к выздоровлению. Потому что он, кажется, выздоровел – в голове было ясно и пусто, в груди не клочкотала мокрота, боль в ноге была лишь слабым намеком, а не болью. И было весело, особенно после стакана зеленого едкого пойла, которое он, проснувшись, обнаружил на тумбочке и выпил без раздумий – так ему было велено в записке, подсунутой под стакан.

Ури спустил воду и поток забурлил в воронке унитаза в безошибочном ритме арии герцога – «Пусть же смеются, пусть увлекают!»

«Но изменяю им раньше я! Да-да! Да-да – им ра-а-а-ныше-е-е-е я!» – пропел Ури под аккомпанемент потока и сам себе не поверил. Он ли это? Когда это он пел последний раз?

На чуть теплой батарее было приготовлено черное, в тон халата, махровое полотенце – если его и взяли в рабство, то это было, пожалуй, вполне комфортабельное рабство. Черт-те что – вместе с выздоровлением на Ури накатило совершенно непривычное, он бы даже сказал – непотребное, – благодушие, настолько непривычное, что оно ощущалось неуютным, как чужеродное тело. Он благодушно сбросил чужой халат и, благодушно топча ногами разбросанные по дну ванны розочки, принял душ, а затем благодушно влез в свои джинсы, которые нашел аккуратно сложенными в ногах кровати.

Почему-то все время пелось и даже пританцовывалось.

«Тат-та-та! Та-та! Та-та!» – пропел Ури, в ритме вальса выскальзывая в коридор и зажигая свет. В коридоре музейно пахло мастикой и тускло поблескивал натертый паркетный пол, слегка похожий на тот, что был в зале школы для балльных танцев, которую Ури нехотя посещал в ранней юности по настоянию матери. Бедная Клара, черт бы ее побрал, всегда стремилась привить своему непослушному сыну основы европейской культуры.

«На носочки, шаг налево, два налево – поворот!» Налево была кухня. Кухню он уже видел, а есть не хотелось.

«На носочки, шаг направо, два направо – поворот!» Направо зеркальная гладь пола отражала глядящие друг на друга закрытые резные двери и упиралась в размашистый марш мраморной лестницы. Туда Ури и устремился – любопытно было узнать, в какие хоромы его занесло. Но разогнался он напрасно – было там не более десятка ступеней, который обрывались на полушаге перед глухой двустворчатой перегородкой, полностью перекрывающей лестничный пролет. Перегородка была современная, на болтах, не то что лестница или двери в коридоре.

Впрочем, даже и беглого взгляда было достаточно Ури, чтобы оценить разницу между возрастом дверей и пола и возрастом мрамора ступеней и каменных плит лестничного пролета.

«Лет четыреста, а то и все пятьсот! – присвистнул он. – Ну и ну! На носочки, благоговейно, шаг назад и поворот!» А за поворотом ему открылся короткий марш той же лестницы,

ведущий вниз, в просторный сумрачный зал, освещенный неярким настенным канделябром в виде двусвечника. Странно, во всех комнатах было темно, и только здесь горел свет, бледного сияния которого хватало только на поддержание таинственного полумрака. Рядом с лестницей сбегала вниз наклонная каменная дорожка с перилами – для чего бы это, интересно?

– Ладно, пошли на разведку, – сказал Ури самому себе и засмеялся. Голова его была легкой и прозрачной, словно воздушный шар, на котором он может вот-вот взлететь. Он так и сделал: оттолкнулся от пола, взлетел и повис под сводчатым потолком, чуть касаясь плечом тяжелой бронзовой люстры, предназначенной для сотен свечей. Под люстрой простирался неоглядный Т-образный стол, вдоль обеих сторон которого тянулись грубо отесанные лавки без спинок. Вход в зал охраняли два рыцаря при полном параде – все было как надо: латы, мечи, шлемы со спущенными забралами.

Ури пошарил ладонью по стене за спиной одного из рыцарей и нащупал там кнопки электрических выключателей. Отсутствующие в люстре свечи не загорелись, но на противоположной стене зажегся еще один канделябр, близнец первого, и осветил окружающую его коллекцию старинного рыцарского оружия. Чувствуя себя восторженным тринадцатилетним мальчиком, Ури ринулся туда – подбирать щиты по руке и пробовать на палец острия шпага, мечей и рапир.

Шпага подошла ему больше, чем меч, – она так и прикипела к его ладони, становясь продолжением руки. Со шпагой в правой руке и со щитом – он выбрал не круглый, который был слишком громоздким, а продолговатый, кожаный, весь в бронзовых заклепках – в левой, Ури залюбовался собой в огромном обрамленном деревом настенном зеркале.

– К вашим услугам, милостивый государь, – сказал он своему отражению. – На носочки, шаг налево, два направо – поворот!

Отражение встало на носочки, шагнуло вперед коленом, прикрылось щитом и сделало выпад правой. Всем бы оно было хорошо, если бы не вправленная в джинсы клетчатая рубаха, нарушающая своей ковбойской бойкостью романтическую эстетику этого фехтовального представления. Ури пошарил глазами по тонущему в полумраке залу – ага, вот оно, так он и думал! – на торцовой стене были экспонированы рыцарские доспехи. Не выпуская шпаги из ладони, он протанцевал вдоль стола и замешкался перед невозможностью выбора. Латы были чудо как хороши, но, пожалуй, маловаты, а вот кольчуги и панцири были попросторней и на любой вкус. Он выбрал кольчугу – тоненькую, сетчатую, искусно сплетенную из стальных колец. В придачу к кольчуге он подхватил еще сетчатые перчатки с медными нашлепками на тыльной стороне ладони.

Напялить кольчугу было непросто, и Ури пришлось здорово попотеть, пока он втиснул свои крутые плечи в эту жесткую рыболовную сеть. Особенно много хлопот доставили перчатки – похоже, средневековые рыцари были мелкокожны и запястья у них были, как у благородных девиц. Да и ростом они похвастать не могли, отметил, оглядывая себя в зеркале, Ури.

Ко всему этому нашелся не слишком маленький шлем с сетчатым забралом, так что вместе со шпагой и щитом костюм его выглядел вполне карнавально – как жаль, что давно ушли в прошлое времена, когда он так жаждал поразить девочек в школе своим пуримским нарядом. Ури попробовал еще один пируэт со шпагой – получилось совсем неплохо, хоть кольчуга отчаянно жала под мышками и мешала дышать. Но ничего, придется приспособиться, рыцари ведь как-то дышали.

И тут за зеркалом что-то звякнуло, лязгнуло, загремело, словно ржавый ключ с трудом поворачивался в замке. Ури отскочил от зеркала и торопливо огляделся – убежать наверх было уже поздно, но, входя, он заприметил справа под лестницей небольшую скошенную дверцу. Он рванулся туда и дернул ручку – дверца была незаперта, однако за ней открылся всего лишь низкий шкаф, плотно набитый мужской одеждой большого размера – брюками, пиджаками, куртками, рубахами. Рассматривать их Ури было некогда, потому что зеркало вместе с рамой

начало плавно отделяться от стены. Ури метнулся в угол за спину рыцаря и одним движением выключил свет – погасли оба канделябра, так что в зале стало бы совсем темно, если бы не острый световой луч, вклинившийся между столом и стеной из-за округло отворяющегося зеркала. Так вот оно что – это была потайная дверь, как он сразу не догадался?

– Почему такая тьма? – спросил голос Инге и узкий луч фонарика закружил по залу, отбрасывая во все стороны поспешно искаженные тени встречаемых предметов. Ури прижался к рыцарю и затаил дыхание – хорош он будет, если она обнаружит его сейчас в этом шутовском наряде со шпагой в руке! По стене проплыла и исчезла огромная собачья тень – вслед за Инге из-за зеркала вышел Ральф. У этого мстительного зверя не было сомнений, где искать виновника беспорядка: не останавливаясь, он одним прыжком очутился рядом с Ури, присел на задние лапы и глухо зарычал.

– Что там, Ральф? – спросила Инге, направляя фонарик в сторону Ури, и вдруг отшатнулась и сделала шаг назад, словно увидела призрак.

– Это ты, Карл? – спросила она неуверенно и протянула руку к Ури, чтобы снять с него шлем. Ури отстранился, так что пальцы Инге скользнули по его металлической щеке и повисли в пустоте. Она не повторила свою попытку увидеть его лицо, а отступила еще дальше и сказала тихо:

– Опять ты со своими дурацкими шутками. И напрасно – я уже перестала тебя ждать.

Надо было поскорей кончать эту комедию. Ури молча нашарил спиной выключатель и нажал на него плечом – вспыхнули бледные лампочки в дальнем канделябре. Даже при их тусклом рассеянном свете было видно, что лицо Инге искажено гримасой то ли растерянности, то ли испуга. Чувствуя себя шутком гороховым, Ури сдернул с головы шлем и виновато улыбнулся. Инге уставилась на него, словно не веря собственным глазам.

– О господи, это вы! – выдохнула она. – Надо же, как вырядился!

И начала безудержно хохотать. Она смеялась с каким-то истерическим весельем, словно стряхивала с себя испуг, смеялась до слез, до колик, едва переводя дыхание, встряхивала руками, утирала слезы, начинала смеяться снова и никак не могла остановиться. Ури сперва окаменел от смущения за неловкость своего положения и за нелепость своего костюма, но смех Инге был так заразителен, что он вдруг почувствовал, как в груди его тоже вздымается волна дурацкого беспричинного хохота.

Несколько мгновений они смеялись вместе, находя особое удовольствие в этой необязывающей взаимности, а потом Ури попытался как-то изложить ей неубедительные мотивы этого мальчишеского маскарада, но она отмахнулась от его объяснений:

– Не оправдывайтесь, я вас уже простила. Лучше скорей снимите с себя доспехи и пойдем ужинать.

Инге погасила свечи в канделябре и легко взбежала вверх по ступеням. Только сейчас Ури заметил, что на ней очень женственное, явно домашнее платье, отделанное кружевом у ворота и на манжетах, а на ногах вместо примелькавшихся ему сапог – красные бархатные туфельки на невысоких каблучках. Значит, она пришла не с улицы. Где же она была?

Медленно поднимаясь вслед за Инге по лестнице, Ури приостановился на верхней ступеньке и попытался разглядеть зеркальную дверь. Но никакой двери там не было – зеркальная поверхность чуть-чуть поблескивала в густом полумраке зала, ничем не выдавая своей истинной сущности. Куда же эта потайная дверь вела?

– Что вы там застряли, Ури? – окликнула его Инге из кухни. – Идите скорей, я уже включила чайник.

Ури ускорил шаг и обнаружил, что на ходу он дышит с натугой: эта чертова кольчуга не на шутку сдавливала ему ребра. Однако, войдя в свою комнату, он начал не с кольчуги, а с перчаток, которые почти парализовали движения его кистей – неясно, как эти рыцари умудрялись быть столь славными вояками при таких крохотных ручках? После довольно напряжен-

ной борьбы ему все же удалось выбраться из перчаток, превративших его кожу в краснопережую чешую морского окуня. А вот стащить кольчугу он был не в силах, она застряла где-то на полпути между плечами и лопатками и самопроизвольно свернулась там в тугую колючий жгут, который невозможно было ни разорвать, ни сдвинуть повыше в сторону шеи. «Месть Монтесумы», – промелькнуло в голове Ури некстати, пока ногти его тщетно боролись с десятками стальных ячеек, впевившихся в ворсистую ткань рубахи. Монтесума был явно ни при чем, может, лучше «Проклятие Барбароссы»? Хоть Барбаросса, пожалуй, был тоже ни при чем. В том тихом провинциальном городишке, где Ури провел последние дни перед отъездом, одна из главных улиц называлась Аллея Барбароссы. Ее солидные старомодные особняки, окруженные гладко причесанными садами, явно спланированными садовниками-профессионалами, были образцом сегодняшнего немецкого благополучия. Они не могли иметь ничего общего со славным прошлым лихого кровожадного короля, который оказался таким тщедушным, что его кольчуга чуть не задушила Ури.

Однако «Проклятие Барбароссы» звучало красиво, и Ури на все лады повторял его, царапая ногтями неподатливую стальную чешую кольчуги. В таком виде, с заведенными над головой локтями и с проклятием Барбароссы на устах и застала его Инге, когда, потеряв терпение, заглянула к нему в комнату, чтобы выяснить, почему он так долго возится.

– Не можете снять кольчугу? – любопытствовала она. – И поделом: нечего было надевать ее без спросу.

– Кто же мог предполагать, что ваши арийские рыцари были такие заморыши? – отшутился Ури, еще раз попробовал раскрутить пальцами упругий сетчатый жгут и сдался. – Ладно, пошли ужинать! Будем считать, что я был посвящен в рыцари и до конца своих дней обречен носить кольчугу.

Инге попыталась просунуть палец между жгутом кольчуги и спиной Ури.

– Ого, как тесно! – усмехнулась она. – Боюсь, если вы останетесь в этой сбреу, конец ваших дней не за горами!

От прикосновения ее пальца Ури испуганно захихикал. Инге пришла в восторг.

– Вы боитесь щекотки?

– И еще как! – сознался Ури.

– Что ж, придется потерпеть. Сейчас мы раскрутим обратно то, что вы тут накрутили, и поищем выход из этой ловушки.

И она стала медленно скатывать кольчугу вниз, опять запирая его дыхание. В этой сдавливающей грудь клетке смеяться было особенно больно, но и удержаться было невозможно, так что Ури исхохотался до изнеможения, пока Инге удалось расправить упругое стальное решето. И хотя теперь оно душило его сильнее, чем прежде, вся процедура распрямления кольчуги наполнила его тело позабытой физической радостью. Где-то он читал, что от смеха в кровь поступают особые веселящие вещества – если так, то сегодня он получил изрядную их порцию.

А может быть, дело было в летучих касаниях пальцев Инге, порхающих вверх и вниз по его груди и спине? Голова у Ури по-прежнему была легкой и пустой, как цветной воздушный шар – ярко-розовый с лилово-голубыми разводами. Внутри этого шара струились, кружась и переливаясь, невесомые свободные мысли, пестрые бессвязные слова и даже обрывки арии герцога про сердце красавицы, склонное к измене. И не было в нем никаких страхов, тех, с которыми Ури жил весь последний год. Страхи остались там, в поверженном, втиснутом в нелепую кольчугу теле, у которого с парящим под потолком шаром не было ничего общего.

Пальцы Инге скользнули Ури под мышку, на этот раз почему-то не щекотно:

– Потерпите еще минуту. Где-то тут должен быть хитрый шов, что-то вроде молнии тех времен.

Пока рука ее шарилась в поисках этого хитрого шва, в недрах шара мелькнула игривая мыслишка «А что, если?...» Но он не успел додумать, что именно «если», потому что коль-

чуга вдруг разом распахнулась от бедра до подмышки, и дыхалка его облегченно расправи-лась. Мелкая рябь прошла по всему объему шара, не вынуждая его, впрочем, приземлиться и соединиться с телом. А на поверхность неожиданно выплыл дурацкий нескромный вопрос:

– А кто такой Карл?

Рука Инге отшвырнула край кольчуги и застыла в воздухе:

– А что вы знаете про Карла?

– Ничего, – честно сознался Ури.

– Почему же спрашиваете?

– Потому и спрашиваю, что ничего не знаю.

Ури хотел было продолжать свой допрос, но Инге пресекла его, закрыв ему рот ладонью. Так вот просто взяла и прижала ладонь к его губам – от кожи ее пахло какой-то горьковатой травой, – и он умолк, не зная, как реагировать, а потом ни с того ни с сего впился зубами в упругие подушечки у основания ее пальцев. Сперва прикусил слегка, чуть-чуть, а затем стиснул челюсти сильнее, проникая зубами в теплую, полнокровную плоть. Ладонь дрогнула, и он замер в ожидании затрешины.

Однако Инге не только не отняла руку, чтобы его ударить, но даже не попыталась высвободить защемленную его прикусом мякоть под пальцами. Она словно окаменела рядом с ним, и тишину нарушала только горячая пульсация крови в прижатой к его губам ладони. Воздушный шар в голове Ури взвился под самый потолок и попытался вырваться наружу. Но ему это не удалось, так что ему пришлось вернуться назад к телу, которое быстро наполнялось предвкушением.

Последний год был разрушительным, он научил Ури избегать предвкушений такого рода – те разочарования, которые они несли за собой, поссорили его со всеми, кто был ему дорог. Он уже привык к одиночеству и научился его ценить: одиночество обеспечивало ему хотя бы видимость душевного покоя. Но на этот раз предвкушение было наполнено настойчивостью такой силы, на которую он, казалось, давно был неспособен, и осторожность покинула его. Подвела, оставила его на произвол судьбы.

Если бы Инге спугнула его неловким словом или жестом, он, пожалуй, мог бы еще вырваться из-под этого наваждения. Мог бы вернуться в спокойную гавань своей отрешенности, достигнутой им с таким трудом. Но она по-прежнему стояла, не шевелясь и не отнимая безвольную ладонь, словно предоставляя ему свободу действий. И тогда он отпустил ее ладонь и привлек к себе. Она прильнула к нему, не сопротивляясь. Во всех точках, где ее тело прикасалось к его, вспыхивали, сливаясь друг с другом пронзительно синие огоньки, отчего воздушный шар его головы наконец оторвался от тела и, протаранив потолок и крышу, вознесся неведомо в какие выси. А дальше он уже ничего не помнил, кроме того, как эта незнакомая женщина таяла у него в руках, растворяясь в нем и шепча давно забытые ласковые слова на языке его детства.

До сих пор все его женщины – и любимые, и случайные – в минуты любви бормотали свою сладкую женскую чушь на иврите. И даже когда он завел короткую веселую интрижку с разбитной американской туристкой из Нью-Йорка, та все время пыталась доказать ему, что она не хуже других и, пусть с чудовищным акцентом, но тоже говорит на иврите. По-немецки с ним говорила только мама. Как он ее называл – мама? Это же надо! – ведь уже давно он мог выдавить из себя только суровое и безликое слово «мать».

Обессиленный и на редкость умиротворенный, Ури лежал, уткнувшись лицом в незнакомое, плотное, очень белое плечо. Он пробежал пальцами от плеча к ладони, поднял укушенную им руку и поцеловал. Инге повернула ладонь к себе и усмехнулась:

– До крови все же не прокусил. А я думала, ты – вампир.

– К сожалению, не вампир. А жаль, ведьма и вампир – какая чудная пара!

– С чего ты взял, что я ведьма?

– Во-первых, ты сама созналась.

Внезапный переход на «ты» для Ури был прост, в его языке все обращались друг к другу на «ты». А вот для нее это что – знак близости? Впрочем, у него еще будет время это выяснить.

– Во-вторых, об этом вчера громко кричала малиновая фурия во дворе.

– Малиновая фурия? – сперва не поняла Инге, но быстро догадалась. – Ах, Марта! И ты что, ей поверил?

– Конечно, поверил. Разве ты не подмешала мне в лекарство приворотное зелье?

Инге приподнялась на локте и посмотрела ему прямо в глаза, близко-близко, так что он увидел в ее глазах свое крошечное искаженное отражение.

– Ты прав – подмешала.

Трудно было понять, шутит она или говорит всерьез. Она продолжала пристально смотреть на него, нисколько не стесняясь своей наготы. Груды у нее были крупные, тугие, очень белые со светлыми розовыми сосками. Таких сосков он раньше не видел, у всех его прошлых девушек соски были темные, порой почти черные. Он нежно, почти не касаясь, обвел пальцами правой руки розовую вишенку соска, плоские синие глаза дрогнули и закрылись. Тут кто-то заколотил в дверь, негромко, но отчаянно, и из коридора донеслось жалобное повизгивание, похожее на плач обиженного ребенка.

– Ревнует, – не открывая глаз, сказала Инге, откинувшись назад и положила левую ладонь Ури себе на вторую грудь. – Он у меня очень ревнивый.

Уже чувствуя, как его снова засасывает в зияющую воронку, сплетенную из ее рук, ног, волос, горячих губ и белого живота, Ури на секунду вынырнул на поверхность, чтобы спросить:

– А к Карлу он тоже ревновал?

Задавая свой вопрос, он на миг открыл глаза – прижавшись носом к черному стеклу, на него из темноты смотрел Губертус, седые волосы развевались на ветру, бородатый рот ощерился в злобной гримасе.

## Клаус

Обидно, что у меня совсем нет денег. А то я мог бы сколько угодно играть на автомате, потому что мы с мамкой теперь каждый день таскаемся в «Губертус» жаловаться на фрау Инге. Сперва все нас жалели, и даже Гейнц помирился было с мамкой, но она тут же с ним опять поссорилась, потому что он не захотел дать ей денег, а сказал, пусть она требует выкидное пособие за то, что нас выкинули. Мамка, конечно, начала на него кричать, зачем он притворяется – ведь он прекрасно знает, что никакого пособия ей не полагается, раз фрау Инге всегда платила ей в лапу, иначе она бы перестала получать деньги от государства за своего идиота – это она про меня.

Тут все на меня посмотрели, будто первый раз увидели, и Гейнц сказал:

– Так на него ты получаешь, чего же тебе еще надо? – и ушел. А мы с мамкой остались сидеть в «Губертусе», хотя Эльза была этим не очень довольна, потому что Вальтер угостил мамку пивом и колбасой, а потом шлепнул ее по заднице и сказал:

– Хорошая у тебя задница, Марта, чистое сало! Не то что у моей Эльзы.

Эльза за стойкой так и зашипела от злости и стала греметь тарелками, хоть это была чистая правда, у Эльзы вообще никакой задницы нет. Вальтер захохотал и нацелился шлепнуть мамку опять, но тут к «Губертусу» подкатил фургон фрау Инге. Она вышла из кабины и, не закрыв дверцу, быстрым шагом направилась к кабачку. На ней был нарядный серый костюм и светлые туфли-лодочки – значит, она спешила в город. Мамка, как увидела фрау Инге, сразу выскочила из-за стола и помчалась в кухню, крикнув на ходу:

– Если эта стерва ищет меня, не говорите ей, что я тут!

По дороге она еще успела щелкнуть меня по затылку и приказать:

– А ты, дурак несчастный, лучше вообще рот не раскрывай, а не то получишь у меня!

Все они хотят, чтобы я молчал, – и она, и Дитер-фашист, и Отто. Ну что такое я могу про них разболтать? Даже спросить некого.

Фрау Инге вошла и стала вглядываться в наши лица – наверно, из-за того, что на улице ярко сияло солнце, а в «Губертусе» занавески были задернуты и свет не горел, потому что не было ни одного посетителя. Ведь мы с мамкой не в счет.

Пока она вглядывалась, мне стало ужасно смешно, что мы ее видим, а она нас нет. Я сцепил зубы и прикусил язык, но ничего не помогло – я прыснул, и тогда она меня узнала и спросила:

– Ты тут один, Клаус? А где Марта?

Тут я вспомнил, что мамка прячется от нее на кухне и представил, как она тут, совсем рядом, выглядывает, небось, из-за двери, а фрау Инге ее не видит и даже не догадывается, где ее искать. Меня прямо так и развезло от хохота, и я, чтобы удержаться, стал разглядывать мамкину старую швейную машинку и древний утюг на углях, которые Эльза выставила на подоконнике, чтобы не отставать от моды. Она прямо так и сказала: «Нельзя отставать от моды», – когда выпрашивала у мамки эту швейную машинку, а мамка не хотела отдавать.

– Куда ты смотришь, Клаус? – сказала фрау Инге. – Смотри на меня!

Но я не мог оторвать глаз от швейной машинки и утюга – ведь мамка велела мне молчать, и я боялся проговориться.

– Смотри на меня, Клаус! – повторила фрау Инге, взяла меня за подбородок и повернула к себе. – Ну, что ты от меня скрываешь?

Мне сразу перехотелось смеяться, потому что от ее пальцев в голове у меня засияло солнце, во рту стало мокро, а внизу живота стало горячо, будто я играл в Инге и Карла. Изо рта у меня потянулась слюна и капнула ей на палец, тогда она отдернула руку, вытерла ее бумажной салфеткой и повернулась к Вальтеру:

– Вальтер, пожалуйста, передайте Марте, что она должна вернуть мне мои ключи.  
И вышла, не дожидаясь ответа.

Мамка зашептала из кухни:

– Беги за ней, Клаус! Надо убедиться, что эта проклятая ведьма на самом деле уехала. А то ведь с нее станется тут же вернуться, специально, чтобы меня поймать.

– Да на что ты ей нужна? – сказала Эльза, вытирая мокрой тряпкой совершенно чистую стойку и всем своим видом показывая, что и ей мамка тоже не нужна.

– Я ей, может, и не нужна, а вот ключи свои она получить хочет! – объявила мамка. Видно было, что ей не терпится что-то рассказать, и Вальтер с Эльзой начали придвигаться к ней поближе, Эльза даже забыла про то, что она мамку не любит.

– Я ключи ей пока не отдам... – начала мамка, но тут она заметила, что я еще стою возле двери, а не побежал вслед за фрау Инге, как она велела.

– Ты еще здесь? – заорала она и грозно двинулась на меня, позабыв, что фрау Инге только-только отъехала и еще может вернуться. Я быстро выскочил из «Губертуса» и помчался по улице вслед за фургоном, который свернул возле моста не в сторону города, а в сторону замка. Значит, фрау Инге в своем нарядном костюме спешила домой, а не в город. Я немножко постоял, глядя снизу, как фургон поднимается по извилистой дороге к замку, пока он не исчез за поворотом. Мне ужасно, ужасно хотелось опять вернуться туда к моему другу Гансу и даже к Отто – он хоть и вредный, но я к нему привык: он никогда не называл меня идиотом, а иногда давал мне пару марок, чтобы я мог поиграть на своем автомате. Я не знаю, сколько времени я так простоял, глядя на пустую дорогу, я даже забыл, что мне пора вернуться, чтобы узнать, зачем мамке нужны ключи от замка.

## Инге

«Господи, пусть все продолжится так, как началось», – в сотый раз повторила про себя Инге, снимая жакет и бережно расправляя его перед тем, как повесить на плечики. Она провела кончиками пальцев по упругой чуть ворсистой ткани, каждой клеточкой кожи впитывая ласку этого мгновенного касания. Она сегодня была беззащитной жертвой всякого касания. От любого прикосновения по ее кровеносным артериям и нервным волокнам пробежали мимолетные высокочастотные импульсы, от которых голова ее становилась невесомой, а в груди нарастала радость такой концентрации, что она тут же превращалась в невыносимую боль. Такая боль могла означать только одно – что она опять влюблена.

От прикосновений к костюму эта боль обрастала новыми оттенками: костюм был подарен ей Карлом – в прошлом году на день рождения – и вызывал у нее такие противоречивые чувства, будто был не вещью, а живым существом. С тех пор как отец заболел и Инге сама стала вести хозяйство в замке, она принципиально не покупала себе дорогих вещей – слишком хорошо знала она цену каждому пфеннигу. Поэтому, когда Карл предложил ей вместе поехать в город, чтобы она сама выбрала себе подарок, она никак не могла решить, чего бы ей хотелось. Как назло, каждая вещь, которая ей нравилась, оказывалась слишком дорогой, и она с отчужденным любопытством наблюдала, как Карл пытается доказать ей, что это вовсе не то, что ей надо. При этом в каждом магазине он с таким интересом прилипал к полкам с мужскими ботинками или со спортивными куртками, что оторвать его можно было только вопросом: «Кому мы пришли покупать подарок – тебе или мне?» Впрочем, его можно было простить – он ведь практически не выходил из замка.

Они долго и безрезультатно бродили по бутикам между «Карштадтом» и «Херти», по очереди отвергая любую новую идею. Терпение Карла постепенно истощалось, и он стал потихоньку ненавидеть ее за то, что из-за нее попал в эту западню, из которой не было достойного выхода. Он начал часто зевать и перестал отвечать на вопросы. Инге могла бы с легкостью вернуть его хорошее настроение, если бы она вдруг объявила, что устала и не хочет никакого подарка. Но мысль о том, как его обрадует такой поворот, стала ей поперек горла, и она твердо решила без подарка домой не возвращаться.

Чутье у Карла было как у хищного зверя, тем более относительно Инге, которая всегда была для него прозрачна – он тут же разгадал ее решимость и принял бой. Он быстрым шагом прошел к почтовому отделению и начал внимательно разглядывать прищипленный к двери желтый лист с портретами разыскиваемых террористов. Холодея от опасения, она начала осторожно тянуть его за рукав:

«Пойдем отсюда, Карл!»

Он выпростал рукав из ее пальцев и потянулся к листу.

– Смотри, вот Зильке Кранцлер. Помнишь ее – жуткая уродина? Она училась на курсе старше тебя.

Инге поняла, что выбор у нее небольшой – или немедленно что-нибудь купить, или не покупать ничего, но в любом случае убираться из города поскорей. Она огляделась вокруг – рядом с почтой были расположены самые дорогие магазины, но делать было нечего. Она шагнула к ближайшей витрине, где даже блузка стоила не дешевле трехсот марок, и воскликнула:

– Смотри, вот костюм, о котором я давно мечтаю!

Тут даже не было прямой лжи, потому что костюм этот приглянулся ей еще с осени, когда он впервые появился в витрине. Стоил он так дорого, что за прошедшие пару месяцев никто не расщедрился его купить, и теперь его весьма кстати уценили на двадцать пять процентов. Что и дало Инге возможность убедить Карла в их необычайной удачливости – как им повезло первыми отхватить по дешевке такую шикарную вещь.

Носить костюм было практически некуда, потому что Карл почти никогда не решался появляться на людях и страшно обижался, если она ходила куда-нибудь без него. Она стала надевать костюм только недавно, после того, как Карл улизнул невесть куда, даже не оставив ей записки, – порой когда ездила в город на деловые обеды, а порой просто под настроение как средство от депрессии. А вот сегодня на душе у нее было так празднично, что она надела костюм Карлу назло, – ведь ездила она всего-навсего на колбасную фабрику улаживать мелкие финансовые недоразумения. Но не такой человек был Карл, чтобы позволить ей безнаказанно сделать что-нибудь ему назло. Подаренный им костюм немым укором мозолил Инге глаза, так что в конце концов она с облегчением отгородилась от него дверцами шкафа.

Дверь в ее спальню приоткрылась, и в щель просунулась узкая серебристая морда – у Ральфа никогда не хватало терпения дожидаться в коридоре, пока она переоденется. Вслед за Ральфом в спальню ворвалась волна дразнящих запахов из кухни – пахло жареным мясом, кардамоном, базиликом, мятой и чем-то еще, незнакомым, но аппетитным.

– Ури! – весело крикнула Инге, наспех набрасывая на плечи халат. – Это ты там колдуешь у плиты?

Ури удивленно выглянул из кухни – ее нарядный, отороченный черным кружевом передник был ему очень к лицу:

– Откуда ты взялась? Я даже не заметил, что ты вернулась!

А как ему было заметить, если она приняла специальные меры, чтобы пробраться в замок незамеченной? Ей обязательно нужно было проведать Отто, которого она не видела со вчерашнего дня, но она все еще не решалась показать его Ури. Никогда нельзя было предугадать, какой номер выкинет старый тиран, от него можно было ожидать любой пакости. А в Ури, несмотря на его ловкость и силу, явно просматривалась какая-то скрытая хрупкость, какая-то чужеродная взрывчатая уязвимость – еврейская, что ли? Так что Инге предпочитала повременить с церемонией знакомства – пусть Ури немного пообвыкнет и приживется у нее, а то еще ненароком сорвется с места и исчезнет. А она так не хотела, чтобы он исчез!

Поэтому Инге припарковала фургон на обочине узкой проселочной дороги, сбегаящей к реке с последнего крутого поворота перед замком, дошла до ворот пешком, осторожно отворила калитку и на цыпочках прокралась вдоль стены так, чтобы ее нельзя было увидеть из окна. Фрау Штрайх немедленно бросилась к ней с жалобами на ужасное поведение Отто, который встретил дочь с мрачной враждебностью – зная отца, она не сомневалась, что он уже проведает о присутствии Ури в замке и готовит оружие для новой войны. Поскольку маниакальная любовь отца к ней оказалась неразделенной, мелкие домашние войны составляли главную радость его скудного существования, и он отдавался им со всей страстью, которая оставалась в его разрушенном теле. Инге и жалела его, и боялась – ей порой казалось, что его поврежденный мозг сконцентрировал всю свою не востребованную энергию на творческом ведении военных действий, так что даже прикованный к инвалидному креслу он был опасным противником. А ей сейчас только доставало, чтобы он объявил войну Ури!

Обдумывая, как подольше избежать встречи Ури с отцом, Инге быстро прошла через подземный ход и по коридору, напоенному ароматом жареного мяса, неслышно проскользнула к себе. Теперь ей нужно было как-то выкрутиться не объясняя, и она отшутилась:

– А как бы ты мог заметить? Я прилетела на помеле.

– Где оно? – Ури сбросил передник на пол и пошел по коридору к Инге.

– Покажи, я никогда не видел настоящего помела.

– Но его здесь нет, – она огляделась, словно и вправду надеялась увидеть это таинственное помело. – Оно уже исчезло.

– Как это – исчезло?

– Ну... наверно, срочно понадобилось кому-то... – сказала она неопределенно, запахивая халат.

– У вас что, одно помело на всех? – весело удивился Ури.

Он вошел в комнату, оттеснил Ральфа в коридор и закрыл за собой дверь. Как только он закрыл дверь, Инге поняла, что именно этого она все время хотела, жаждала, ждала, чтобы он вытеснил Ральфа, закрыл дверь и остался стоять, молча глядя, как она неловко пытается затянуть завязки халата. Взгляд его имел физическую плотность прикосновения, и потому она никак не могла затянуть ускользающий узел. Ури сделал шаг к ней, протянул руку и мягко отвел ее пальцы от халата:

– Оставь, не надо.

И халат соскользнул с ее плеч на пол. Воли у нее не было, он мог делать с ней все, что хотел. Руки у него оказались еще нежней, чем представилось ей в тот вечер в «Губертусе». Хоть было это всего только несколько дней назад, ей казалось, что она успела завершить одну жизнь и начать другую. В этой другой жизни все прошлые правила зачеркивались и заменялись новыми, но ей это было все равно, лишь бы чувствовать его руки на своих плечах, лишь бы чувствовать его губы на своих губах, лишь бы он был с ней.

## Клаус

Когда я вернулся в «Губертус», там вкусно пахло свежесмолотым кофе, но мамка, наверно, уже все им рассказала, потому что в зале ее не было. Эльза насыпала кофе в кофейную машину, а Вальтер цедил из бочки пиво для двух парней в кожаных куртках со стальными гвоздиками, которые пришли поиграть на бильярде. Один был незнакомый, а второй был Дитер-фашист. Увидев меня, он подмигнул мне как заговорщик и незаметно для других показал мне огромный веснушчатый кулак. Я тоже подмигнул ему и показал ему язык, потому что показывать ему кулак я боялся. Я хотел было быстренько прошмыгнуть в кухню – а вдруг мамка там? Но Эльза поймала меня за рукав и велела поскорей бежать домой, если я хочу перехватить мамку, пока та не удрала в город к своей таинственной тете Луизе. Я спросил Эльзу, что она нашла таинственного в нашей тете Луизе – обыкновенная толстая тетка, как у других. На что Эльза мне посоветовала в следующий раз, как я увижу нашу тетю Луизу, проверить, нет ли у нее усов. Все засмеялись – и Вальтер, и Дитер-фашист, и даже незнакомый парень в высоких кожаных сапогах с гвоздиками. Мне неохота было выяснять, что им показалось таким смешным, потому что они смеялись очень обидно. Я немножко постоял возле стойки, глядя, как они по очереди бьют киями по бильярдным шарам и при каждом ударе приговаривают «Наше правительство – говно!» Кто больше раз ударит, тому полагается больше раз это сказать, а за десять раз полагается кружка пива. Но мне почему-то от этого стало совсем скучно, и я побежал домой.

Мамка вовсе не собиралась в город, а стояла возле кухонного стола и большим ножом рубила брусок шпика на мелкие кусочки. Ее рука с ножом поднималась и опускалась с большой силой, как у Конуна-варвара в телевизоре, когда он рубил головы врагам.

– Черт ее унес? – спросила мамка, сыпая кусочки шпика в кастрюлю с кипящим бобовым супом. Я терпеть не могу бобовый суп, а мамка считает его главной едой, и каждое лето в нашем маленьком огороде выращивает бобы на всю зиму.

– Унес, – ответил я, глотая слюну. Оказывается я так здорово проголодался, пока стоял на мосту и смотрел на дорогу, что мне даже суп с бобами показался вкусным. Я бы мог рассказать мамке, что фрау Инге вовсе не уехала в город, а вернулась в замок, но боялся – а вдруг она догадается, что я так долго стоял на мосту, потому что сам хотел вернуться в замок? Поэтому я ничего ей не сказал, а только спросил, правда ли, что у тети Луизы выросли усы. Мамка на мой вопрос не ответила. Она молча закрутила газ, с грохотом шмякнула на стол тарелки и налила супу себе и мне.

– Жри, жри, горе мое! – сказала она. Это она про меня.

Она съела несколько ложек супа и бросила ложку:

– Я им покажу усы, мерзавцам! – пригрозила она непонятно кому, оттолкнула тарелку с недоеденным супом и ушла переодеваться. Я испугался, что она сейчас опять умчится в город без меня, но она погрохотала чем-то у себя в комнате и вышла оттуда вовсе не в малиновом пальто: на ней был рабочий комбинезон и резиновые сапоги, в которых она обычно ходила на работу в замок.

– Кончишь жрать, помой посуду. Мне некогда, я спешу, – сказала она и пошла в сарай, где стоял ее велосипед. Я тоже бросил недоеденный суп, хоть еще не наелся. Но я пошел за ней и стал выводить свой велосипед.

– Куда это ты собрался? – сердито спросила мамка.

– С тобой.

– Я тебя с собой не звала! – отрезала она, взгромоздилась на велосипед и начала быстро-быстро крутить педали.

Я тоже влез на велосипед и тоже начал быстро крутить педали.

Не важно, звала она меня с собой или нет, – все равно я кручу педали быстрее, чем она. Но я не стал ехать за ней близко, чтобы пыхтеть ей прямо в спину, а держал такое расстояние, что я мог ее видеть, а она меня нет. Конечно же она потащилась в замок. Так я и думал – куда еще она могла поехать в комбинеzone и в резиновых сапогах? На предпоследнем крутом повороте она меня все-таки заметила и крикнула:

– А ну-ка езжай обратно! Быстро!

Но я не послушался и продолжал ехать за ней. На крутом подъеме к замку я мог бы ее обогнать, если б захотел, и мог бы от нее удрать, если бы она стала меня догонять. Но она не стала ни догонять, ни убегать, а, наоборот, слезла с велосипеда и пошла мне навстречу, глаза у нее были косые от злости:

– Ты что, оглох, дурак несчастный? – орала она. – Я ведь сказала – немедленно езжай обратно!

Я не стал с ней спорить и сделал вид, что возвращаюсь, а сам за поворотом спрятал велосипед в кусты и по крутой дорожке спустился в карьер. В карьере когда-то раньше вырубали красный камень, из которого построены все церкви, замки и разные другие красивые дома вокруг нашей деревни. Раньше вырубали, а потом кто-то запретил и перестали – не знаю точно почему, вроде одна башня в замке может обрушиться, что ли. И только когда Карл начал строить во дворе, он выкатил из сарая старую машину для вырубки камня, ее почистили и починили, и он опять стал рубить в карьере камень для своей постройки. Карл любил говорить, что все запреты придуманы нарочно для него, чтобы ему было что нарушать.

Вот тогда он и обнаружил этот подземный ход в замок – и никто, кроме него и меня, об этом не знал. Карл очень любил тайны – он бы и мне ни за что этот тайный проход не показал, если бы я его однажды не застукал, когда он выползал оттуда на животе. Он сразу понял, что я его увидел, и все мне показал – и подземный ход, и пещеры, но я за это поклялся на крови никому ничего не рассказывать, даже фрау Инге. Я проколол себе палец, подождал, пока выступила кровь, слизнул ее языком и поклялся, что никогда не нарушу свою клятву. Я рассказал про подземный ход только Гансу, он ведь мой друг и все равно никому не мог бы ничего разболтать.

Я не люблю ползти в замок по этому секретному ходу, там очень тесно и штаны все время цепляются за острые камни. Карл говорил, что у меня просто зад большой, как у мамки. Не знаю, я свой зад никогда не видел, ведь на то он и зад, чтобы быть сзади. Но раз надо, я могу и помучиться. Вот я и пополз – а что мне еще оставалось делать, если мамка не захотела взять меня с собой?

## Инге

Инге проснулась от внезапного внутреннего толчка и ужаснулась при мысли о том, сколько времени прошло, но за окном, слава богу, все еще был день. Солнце, правда, успело изрядно передвинуться из правого угла оконной рамы в левый, однако оно все еще не скрылось за зубчатой стеной замка. Ури во сне дышал тихо и ровно, и больше всего ей хотелось бесконечно долго лежать рядом с ним, зарывшись лицом в сгиб его руки, но мысль о тысяче невыполненных дел сорвала ее с постели. Стараясь не разбудить Ури, она проскользнула в ванную и наспех приняла душ: бог с ним, с Ральфом, но и ревнивый Отто был не лучше, он тоже сразу унюхал бы, чем она тут занималась.

Натянув джинсы и плотно облегающий трикотажный свитер, Инге вышла на кухню и вдруг почувствовала прилив волчьего аппетита: давно она не бывала так прекрасно, так увлекательно голодна. Приоткрыв крышки стоящих на плите кастрюль и сковородок, она обнаружила, что Ури приготовил обед для настоящего пира гурманов, но ей некогда было садиться к столу. Она поспешно схватила со сковороды плотный румяный кусок мяса и, с наслаждением вгрызаясь в его ароматную сочную мякоть, побежала через двор к отцу. Там все было как и в прошлый раз – те же жалобы курицы Штрайх, та же враждебная хмурость Отто – только тогда курица кормила его манной кашей, а теперь поила чаем, вот и вся разница.

Пообещав через часок еще раз заглянуть к Отто – курица Штрайх тоненько выкрикнула ей вслед: «Имейте в виду, я через сорок минут ухожу!» – Инге поспешила в свинарник. Там все было в порядке, свиньи спали или, мирно хрюкая, пили воду, которая постоянной ровной струйкой текла по наклонному эмалированному желобу, бегущему от стены до стены. Утром до отъезда в город Инге успела покормить свиней и помыть свинарник, но это было утомительно. Пора было вводить Ури в круг его обязанностей – хоть все в свинарнике было автоматизировано, ей было трудно управляться одной. Где-то в подсознании мелькнуло вдруг разъяренное лицо Марты со злобно ощеренным ртом и неприятно кольнуло опасение – что этой гадюке надо и почему она не возвращает ключи? Но сегодня Инге не могла сосредоточиться на неприятных мыслях – ей не хотелось вспоминать ни о Марте, ни о Карле, ни об отце.

Подошел молодой боров Ганс и потерялся мордой о ее ногу, совсем как собака. Она наклонилась и почесала его за ухом, и напрасно – он вдруг страшно возбудился и стал страстно тереться об ее колено спиной. Инге глянула на часы и легким пинком отодвинула Ганса в сторону – пора было кончать эту запредельную идиллию. Она прошла по проходу, разделяющему свиноматок от молодых свинок, предназначенных на убой – и те, и другие вопросительно уставились на нее в ожидании еды. Из молодых она выбрала двух, самых розовых и упитанных, рывком отворила дверцу загона и вытолкнула их в проход. Они доверчиво прошли за ней в дальний конец свинарника, откуда автоматическая дверь вела в забойную камеру.

Чтобы до свиней не доносился запах крови, забойную камеру отделял от свинарника герметический тамбур с двумя выходами, каждая дверь которого открывалась только, когда вторая дверь была наглухо закрыта. Сама камера напоминала внутреннюю кабину межконтинентальной ракеты – многоцветные кнопки управления, нержавеющей сталь, стекло, хром, белая эмаль. Все делалось автоматически и точно: свинья прямо из тамбура попадала в специальный станок, охватывающий все ее тело и оставляющий открытой только узкую полоску шеи. Станок на широком приводном ремне плавно подъезжал к заметно усовершенствованной со времен Французской революции электрической гильотине, которая убивала свинью быстро и безболезненно. К сожалению, у свиньи все же оставалась доля секунды на истошный предсмертный вопль. Но давно уже прошли времена, когда Инге не могла уснуть, преследуемая ночами кошмарной какофонией этих предсмертных криков.

Карл, пока он был здесь, забой свиней взял на себя. У Инге не было стопроцентной уверенности, что он делал это в виде одолжения ей – порой ей казалось, что он даже получал от этой работы своеобразное удовольствие. Во всяком случае, он обычно выходил из забойной камеры в состоянии особой, едко ликующей эйфории и долго потом терзал Инге невыносимыми шутками и розыгрышами, полными черного юмора. После исчезновения Карла Инге забивала свиней на пару с Мартой, Клауса к этому не допускали, потому что он сразу начинал плакать.

Инге научила себя действовать автоматически, без лишних раздумий и сожалений, словно она сама стала составной частью разумного механизма забойной камеры – пальцы ее нажимали нужные кнопки в то время, как мысли ее плели свою пряжу, не имеющую ничего общего с кровью и смертью. Она быстро забила обеих свинок – сперва первую, за ней вторую. После каждого безотказного падения ножа гильотины она нажатием очередной кнопки открывала станок сверху и включала хитроумный полиспаг, который аккуратно вздергивал вверх обезглавленную свиную тушу и подвешивал обрубок шеи вниз над белой фаянсовой раковиной для стока крови. Затем она извлекла свиные внутренности специальным электрическим аппаратом, умело учитывающим все неприятные особенности этой операции. Теперь надо было перегнать фургон во двор и включить в нем холодильник, чтобы через пару часов можно было загрузить туда готовые к утренней отправке туши.

Инге вышла из забойной камеры не через свинарник, а через другую дверь, ведущую прямо во двор, и с наслаждением вдохнула влажный, настоенный на хвое, воздух. На площадке перед дверью выселись штабеля аккуратно распиленного местного красного камня, заготовленные здесь Карлом для строительства стационарного холодильника, которое он начал прошлой осенью, но так и не успел завершить. Инге прошла через двор к запертой обычно калитке, чтобы перейти по мостику через ров, по дну которого когда-то катил камни бурный поток, а теперь буйно росли папоротники и хвощи. Ее озадачило, что калитка была почему-то открыта. Неужто она настолько потеряла голову, спеша поскорей увидеть Ури и уладить дела с отцом, что нарушила собственную святую заповедь всегда запираеть калитку?

Когда она въехала во двор, ее там ждал Ури. Он затворил ворота и протянул ей руку, чтобы помочь выйти из кабины:

– Какой смысл в перелетах на помеле, если потом самой приходится перегонять машину?

За этим шутивым вопросом скрывался вопрос прямой – зачем она припарковала фургон за углом и тайком прокралась в замок? Отвечать ей пока не хотелось, хоть она прекрасно понимала, что долго скрывать Отто от Ури ей не удастся. Сама удивляясь собственной бесшабашной легкости, она с ходу отмела сам вопрос:

– Вообще-то, машину должны перегонять следом за мной, но сегодня у них санкции.

Ури, прищурясь, оценил ее нежелание отвечать и согласился принять шутку за шутку:

– Что, современные настроения захватили даже Управление по делам Ведьм?

Радуюсь способности Ури ловить мяч на лету и отбивать его в нужном направлении, Инге потянула его к крыльцу:

– Захватили и еще как! Например, последнее время нас вовсе перестали кормить: бюджет, говорят, не позволяет. А какие раньше бывали лакомства! Ты бы попробовал жареные пупки новорожденных младенцев в соусе из вдовьих слез! Объедение!

– Я думаю, то, что я приготовил сегодня, покажется тебе не менее вкусным, – без ложной скромности объявил Ури, распахивая перед Инге дверь в кухню.

Он был прав – обед вышел, действительно, на славу, а после обеда Инге повела Ури в свинарник знакомить его с новыми подопечными. Свиньи вели себя, как обычно, – даже не глянув в сторону Ури, они устремились к Инге, требуя ласки и еды.

– Ну, как тебе мои свинки? – осторожно спросила Инге, открывая дверь в кормовую.

– Свинки как свинки, воняют, как положено.

– Воняют, конечно, – согласилась Инге, хоть ее слегка задело упоминание столь очевидного факта. – Поэтому их и надо дважды в день мыть. Но я не о том. Тебе ведь не противопоказано?...

Она замялась, не находя нужных слов, но Ури сам догадался:

– Ты имеешь в виду, не противопоказано ли мне как еврею мыть свиней?

– Ну да, – тема явно смущала Инге. – Ведь ваша религия за что-то их отвергает...

– Не волнуйся. Я лично против свиней ничего не имею, а наша религия вполне либеральна к тем, кто ее не соблюдает.

Покончив с религиозными проблемами, Инге включила миксер – она не пожалела денег при модернизации свинарника, и все приборы у нее были самого высокого класса. Пока Ури восхищался простотой и точностью устройства овощедробилки, Инге вдруг на миг погрузилась в ту бездонную воронку отчаяния, которая стала засасывать ее, когда она поняла, что у нее нет другого варианта, кроме постылого существования в замке при больном отце и умирающей матери. То, на что она надеялась и к чему стремилась с юности, стало для нее недостижимым и даже опасным – и все из-за Карла, все из-за Карла! Ах, как он разрушил ее жизнь, как она его тогда ненавидела, как по нему тосковала! Вот тогда-то она с горя и бухнула все родительские сбережения на перестройку свинарника – их единственного кормильца. Если уж кормить и забивать свиней, то чтоб хоть руки при этом не марать!

– Пошли, я покажу тебе еще более совершенную аппаратуру, – пообещала она Ури, отворяя перед ним первую герметическую дверь в забойную камеру.

Он не успел еще спросить, для чего ей понадобилось столь хитроумное устройство, как первая дверь бесшумно скользнула в пазы, автоматически отворяя при этом вторую. Они вошли в камеру, и дверь мягко закрылась за ними. Все вокруг было чисто и стерильно, белизной сверкала эмаль, серебром – нержавеющей сталь, хитроумная гильотина затаилась в своем углу над белыми керамическими плитками пола и стен. Общую гармонию нарушали только две обезглавленные свиньи туши, подвешенные на крюках над раковиной, полной крови. Последние капли все еще стекали вниз редкими толчками, вызывая серию мелких, быстро исчезающих круговых волн на гладкой алой поверхности слегка загустевшей крови.

Инге сказала с некоторой гордостью:

– Правда, похоже на межконтинентальную ракету? – и направилась к пульта управления, чтобы спустить туши вниз и сбросить их в белую эмалированную каталку. Не дождавшись ответа, она вопросительно обернулась и увидела запрокинутое лицо Ури, мертвенно-бледное со сведенными челюстями. Он стоял, прислонясь спиной к стене, стараясь сохранить равновесие. Ей даже на миг показалось, что он вот-вот опять потеряет сознание, как тогда ночью, после схватки с Ральфом. Но он справился с первым рвотным спазмом и спросил сквозь стиснутые зубы:

– Где выход?

Инге распахнула дверь во двор, и он стремительно вышел, не оглядываясь назад.

Она так бы и осталась стоять, озадаченно глядя ему вслед, если бы не мысль о том, что он сейчас может, не останавливаясь, пройти через двор, отворить калитку и зашагать вниз, к шоссе. Он не прошел и нескольких нетвердых шагов, как споткнулся о валяющуюся на пути гранитную глыбу, покачнулся, но не упал, а лишь опасно качнулся вперед и назад, и тут его вырвало всеми гурманскими радостями только что съеденного обеда – изысканно приправленным мясом, рассыпчатым золотистым рисом, салатом из ананасов с орехами.

Инге не могла решить, как ей следует поступить. Броситься к нему и, одной рукой обхватив его плечи, второй упереться ему в лоб, чтобы утишить неистовство рвотных спазм, как поступала с ней в детстве ее мама, или, наоборот, не вмешиваться и предоставить его самому себе, чтобы, не дай бог, не задеть его мужскую гордость? Она не знала, какое место в его жизни занимает его мужская гордость, да и вообще, что она о нем знала? Этот неожиданный ужас,

охвативший Ури при виде крови, никак не вязался с его обликом и со всем тем, что открылось ей в нем за эти несколько дней максимальной откровенности и познания. Это значило, что они все еще далеки друг от друга, как космические миры. Мысли эти, не совсем оформившись в слова, пробегали в ее сознании одновременно с беспокойством за него и с неуверенностью в себе, как это обычно у нее бывало. Ей порой казалось, что ее мозг раздроблен на несколько отдельных участков, каждый из которых ведет собственный независимый анализ действительности с несогласованными, а порой и противоречивыми результатами.

Неуверенная, что именно она собирается предпринять, Инге шагнула во двор, обогнула штабель красных камней и вдруг заметила скорчившуюся за вторым штабелем округлую фигуру в синем рабочем комбинезоне – шея вытянута вперед, жидкие белокурые пряди разметались по плечам – Марта! Марта была так увлечена открывшимся ей зрелищем, что не заметила приближения Инге и вздрогнула, словно ее обожгло, когда та коснулась ее плеча.

– Ты что здесь делаешь? – вне себя от ярости выдохнула Инге. – Шпионишь?

Марта, упиравшись руками в камни, с трудом подняла свой тяжелый зад и выпрямилась. Глаза ее бегали, отражая поспешную работу мысли – что лучше, притвориться невинной жертвой или ринуться в бой?

– Чего ты кричишь? Я принесла ключи, ты ведь сама просила, – промямлила она наконец, пытаясь принять выражение незаслуженно обиженной.

Инге вдруг вспомнила незапертую калитку – вот оно что! Наверно, она сама спугнула Марту, когда та тайком пробиралась в замок, вот она и не успела запереть за собой калитку. Когда это было – час назад, полтора? Значит, с тех пор она болтается тут, подслушивая и подглядывая.

– Вон отсюда! – сказала Инге внятно, вслушиваясь при этом напряженно в происходящее у нее за спиной: быстрые нетвердые шаги, удаляясь, простучали по камням. Стремительно обернувшись, она успела увидеть, как Ури взбежал по ступенькам и скрылся за кухонной дверью. Слава богу, не за воротами – и на том спасибо! Он двигался рывками, как заводная кукла, локти его были угловато сведены за спиной, от чего все его тело изогнулось вперед в странном изломе. Забыв о Марте, Инге устремилась за ним.

Марта, конечно, и не подумала уйти – осознав тщету притворной кротости, она ринулась в бой от всей души. Инге слышала ее крики и топот за спиной, но ей было не до Марты – охваченная предчувствием неожиданных неприятных открытий, она открыла дверь кухни, но Ури там не было. Инге вышла в коридор и услышала, как в дальней ванной мощным потоком льется вода. Она испуганно заглянула в приотворенную дверь и увидела, что Ури стоит на коленях перед ванной, лихорадочно намыливая руки и лицо и тут же смывая мыло. Он мылил не только ладони, но и всю руку до плеча, хоть был в клетчатой рубахе с длинными рукавами. Инге окликнула его, но он не услышал. Она шагнула было к нему, но тут кухонная дверь бухнула громко, как пушечный выстрел, и в коридор ворвалась Марта.

## Клаус

Не знаю, сколько времени я полз, наверно долго, было очень темно, и в животе у меня страшно урчало, наверно, от мамкиного супа. Но в конце концов я увидел свет – значит, ползти осталось уже немного. Подземный ход кончается в разрушенной части замка, под винтовой лестницей, которая вела когда-то из подвала в самую высокую башню. По лестнице можно добраться до второго этажа, если смотреть под ноги, потому что некоторые ступеньки наполовину раскрошились. До верха башни дойти нельзя – на полдороге между вторым этажом и третьим ступеньки обрываются и обломки того, что было, валяются по всему полу. Но мне это было сейчас не важно, я не собирался лезть высоко вверх. Мне надо было подняться всего на полпролета, чтобы попасть в нижний коридор.

Я потихоньку отодвинул плиту, заслоняющую вход, вылез и прислушался. Из комнаты Отто доносился звон чашек и противный голос фрау Штрайх. Значит, она еще не ушла, а пьет чай, и надо двигаться осторожно – у нее слух, как у Ральфа. Разница только в том, что Ральфа я не боялся, не то что фрау Штрайх: он, даже если и услышит, на меня лаять не станет, а она станет. Я снял ботинки, чтобы тише ступать, спрятал их под лестницей и в одних носках поднялся в подземный коридор. Пол был холодный и колючий, но не скользкий, вот только в животе у меня продолжало громко урчать. Но фрау Штрайх все-таки этого не услышала, наверно, потому что все время громко говорила сама. Что-то про сверхурочные часы и про то, что она не обязана выполнять работу этого идиота.

Я подумал, что это она про меня, но не стал вслушиваться, мне надо было срочно решать, что делать дальше – выйти во двор тут или пройти по коридору до рыцарского зала и выйти там. Я прокрался к выходу и приоткрыл дверь, все время ожидая, что фрау Штрайх прибежит с криком: «Кто там?» – и тут же наткнулся на мамку. Она стояла спиной ко мне прямо против двери и, вытянув шею, старалась рассмотреть что-то во дворе. Я сам не помню, как я успел прикрыть дверь и попятиться, так я испугался. Может, это был мой счастливый день – мамка меня не заметила, я не споткнулся и ничего не уронил, а спокойно прокрался назад в коридор, который вел в комнаты фрау Инге.

Я, наверно, тысячу раз ходил по этому коридору – носил еду для Отто или возил его в кресле, если он очень требовал, а иногда просто так, если на улице шел дождь. Когда у нас работал Карл, я часто ходил тут с Карлом, помогал ему возить камни для стройки, пока он не начал вырубать камень в карьере. А до этого мы с ним выкатывали старые камни из главного подвала – из того, что под самой скалой возле стены.

Если идти под землей от Отто к фрау Инге, то на полпути к ее двери влево отходит еще один коридор, который постепенно спускается вниз в круглый зал под второй башней – той, что пониже и пошире. Карл говорил, что это очень старая часть замка, там в окнах не было рам, а из лестницы, которая когда-то вела на башню, многие плиты вывалились вниз. Карл говорил, что лучших плит для стройки найти нельзя, потому что наши предки умели камни тесать, не то что мы, идиоты. Но это он говорил не про меня, а про всех. Вот только беда, что эти замечательные плиты валялись на полу круглого зала и были страшно тяжелые. Чтобы вытащить их оттуда, Карл построил специальную деревянную дорожку с перилами, по которой мы с ним выкатывали камни на двух веревках вверх и складывали у входа. А потом мы вывозили их в тележке во двор по нижнему коридору.

Вот тут в нижнем коридоре я видел Карла последний раз, в тот день, когда Отто стало плохо, а фрау Инге не было дома, и я вызвал «скорую помощь». Я так ясно все это себе представил, как Карл бежал впереди, а я катил Отто за ним в кресле и Отто все время отстукивал: «Скорей! Скорей! Скорей!» Это его любимое слово, я его сразу узнаю. Но я так и не понял, чего он хотел скорей, потому что «скорая помощь» уже завывала на мосту так громко, что

даже в подземном коридоре ее было слышно. На последнем повороте Отто вдруг нажал на педаль тормоза, и мы с разбегу остановились, так что я стукнулся подбородком об верхний край кресла, а Карл продолжал бежать. Я наклонился к Отто, чтобы узнать, в чем дело, и тут он схватил меня своей железной лапой за ухо – чтобы я обратил на него внимание – и начал отстукивать «Иди!» и еще что-то. Я никак не мог понять, куда идти, потому что я не умею различать незнакомые слова, но Карл понял и крикнул мне:

– Иди, встретить полицейских! И лишнего не болтай!

Я не знал, что полицейские тоже должны приехать, я вызывал только «скорую помощь», но никто мне ничего не стал объяснять. Карл куда-то очень спешил, а Отто начал задыхаться и сердито бить в свой рельс, так что я повернулся и побежал к выходу. Вообще-то я бегаю довольно быстро, но тут от всей этой суеты у меня в голове все перемешалось, и я, конечно, споткнулся, упал и разбил обе коленки. Когда я наконец выбрался во двор, «скорая помощь» уже подъезжала к воротам, и никакой полиции с ними не было, Карл все перепутал.

Санитар выскочил из кабины и стал звонить в звонок возле ворот, но никто ему не спешил открывать. И тут я вспомнил, что мамка отправилась с фрау Инге сдавать мясо – они тогда еще не ссорились, и мамка не устраивала никаких забастовок, – чтобы оттуда поехать на керамическую фабрику покупать для Отто какой-то специальный горшок, который он давно просил.

Раз нечего было рассчитывать на мамку, я сам пошел через двор отпирать ворота для «скорой помощи». Вообще мне ворота отпирать не разрешают, но тут выходило, что больше некому. Машина «скорой помощи» въехала во двор, из нее вышел врач с двумя санитарями, и все трое стали спрашивать, где больной. Я махнул им, чтобы они шли за мной, и повел их в подземный коридор. Мы прошли по всему коридору из конца в конец, но Отто там не было. Я подумал, что, может, Карл отвез его в комнаты фрау Инге, но тут мы услышали, как он бьет лапой в рельс. Звук доносился откуда-то снизу, мы сперва не поняли откуда. Тогда я вспомнил про второй коридор, и мы свернули туда – там было темно, потому что была зима и рано темнело, – но откуда-то издалека пробивался слабый свет. Мы пошли на этот свет и нашли Отто, он был в круглом зале под башней, в ручке его кресла горел маленький фонарик, который Карл недавно туда вкрутил. Отто бил лапой в рельс и тихо стонал.

Никто так и не понял, как он умудрился скатиться вниз, но он не мог ничего объяснить, потому что забыл, как надо стучать слова. Но тогда все это было не важно, потому что врач нашел у Отто очень высокое давление и сказал, что он может умереть, если срочно не принять меры. Все тут же начали срочно принимать меры: нашли фрау Инге и отвезли Отто в больницу. И в суматохе никто не заметил, что Карл сбежал. Так вот – сбежал и ни слова никому не сказал. А Отто потом тоже ничего не мог вспомнить: он хоть и научился опять стучать слова, но стал очень сердитый и пришлось нанять для него фрау Штрайх. Он особенно сердился, когда фрау Инге иногда спрашивала, не Карл ли скатил его вниз, в круглый зал.

Не знаю, почему я вдруг вспомнил про Карла – наверно, потому, что я пробирался сегодня по коридору тайно, а Карл ужасно любил тайны. И куда он исчез – тоже тайна. Может быть, он когда-нибудь вернется и расскажет мне, почему он вдруг решил от нас сбежать, – ведь даже такому секретному человеку, как Карл, нужен кто-нибудь, с кем он может поделиться, как я делюсь с Гансом.

Я стал думать про Ганса, как он чешет спину о косяк двери, как он ждет меня и не понимает, куда я делся, – и совсем забыл, куда я иду. Я нечаянно свернул в нижний коридор и оказался под разрушенной башней. В нижнем коридоре света нет, но в солнечную погоду там вполне светло из-за того, что в башне слишком много дыр. Через эти дыры сюда проникает не только свет, но и всякий шум снаружи. Я сперва чуть не оглох, когда после тишины в коридоре сразу услышал, как Отто громко бьет в свой рельс, а громкие женские голоса во дворе почти заглушают его звон. Значит, фрау Инге за это время обнаружила мамку. А скорей всего мамка

сама на нее набросилась – с нее вполне может случиться! В любом случае мне нужно было поскорей бежать через рыцарский зал в кухню, если я хотел узнать, возьмет нас фрау Инге обратно или нет. Для чего бы еще мамке понадобилось не возвращать ей ключи, чтобы тут же тащиться в замок их отдавать? Я свою мамку знаю – она ничего не делает просто так.

Мамка говорит, что я у нее неудачный: когда спешу, всегда делаю все наоборот – спотыкаюсь на ровном месте и цепляюсь за гладкие стенки, но на этот раз я ей назло ни разу не споткнулся и даже в рыцарском зале не сбросил на пол ни одного кувшина и не уронил ни одного стула. Но все-таки я неудачный: когда я наконец добрался до лестницы, кухонная дверь открылась, кто-то быстро протопал в ванную комнату и открыл воду. Я не мог видеть, кто это был, но дверь в ванную он не закрыл, так что выйти из зала я не мог: а вдруг это фрау Инге или мамка? Голосов я вроде больше не слышал, но мне казалось, что я слышу, как Отто продолжает трезвонить.

Кухонная дверь открылась снова – теперь я сразу узнал шаги фрау Инге, она торопливо пробежала по коридору в сторону ванной комнаты и тревожно спросила:

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.